



А. Воронов-Оренбургский



ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОХОД

ТОМ 3

С ЛЕД БАРСА

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

РОМАН ИЗ ЦИКЛА «ЭШАФОТ»

Андрей Воронов-Оренбургский

**Железный поход. Том
третий. След барса**

«Автор»

2016

Воронов-Оренбургский А.

Железный поход. Том третий. След барса / А. Воронов-Оренбургский — «Автор», 2016

ISBN 978-5-532-07939-7

Середина XIX в. Кавказская кампания — самая долгая война в истории России, тянувшаяся почти шестьдесят лет и стоившая огромных финансовых потерь и человеческих жертв. Это была война, которая потребовала от своих героев не только мужества, но и изощренного коварства. Война, победа в которой завершала строительство самой великой из евразийских империй. Роман воссоздает события самого драматического эпизода Кавказской войны — похода русской армии в Дарго, резиденцию великого Шамиля, имама Чечни и Дагестана. В оформлении обложки использован фрагмент картины Ф. Рубо «Переход князя Аргутинского через Кавказский хребет». Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-07939-7

© Воронов-Оренбургский А., 2016

© Автор, 2016

Содержание

Часть I. След барса	5
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	20
Глава 5	25
Глава 6	30
Часть II. Ворота Грозной	36
Глава 1	37
Глава 2	43
Глава 3	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Андрей Воронов-Оренбургский Железный поход. Том третий. След барса

Часть I. След барса

*...Вокруг оседланные кони;
Серебряные блещут брони;
На каждом лук, кинжал, колчан
И шашка на ремнях наборных,
Два пистолета и аркан,
Ружье; и в бурках, в шапках черных,
К набегу стар и млад готов,
И слышен топот табунов.
М. Ю. Лермонтов «Кавказский пленник»*

Глава 1

Труден и смертельно опасен был путь абречества Дзахо. Озлобленный, настороженный, скрытный, подобно снежному барсу, скитался он по диким ущельям и тропам высокогорной Чечни. Огонь мести согревал его сердце в слепые, без звезд, холодные ночи; неутолимая жажда расплаты гнала изо дня в день по следу кровников. Но как бы ни была сложна и терниста выбранная им тропа, он – Дзахо Бехоев из Аргуни, храбрый и самоотверженный, был и сейчас вдвойне бесстрашен, готовый в любой момент насмерть схватиться с врагом. Невеликий срок минул с того дня, как Дзахо скрылся от людских глаз, но уже не раз омылся кровью его кованный для лютой мести кинжал, не раз в испуганных очах кровников очарованно блеснула, предвещая гибель, сизой сталью кремневка его отца.

– Воллай лазун... Уо! Я не родился абреком! Вы сделали меня им! Ваш тейп пролил первую кровь. Люди Джемалдин-бека навеки отняли у меня Бици! Сожгли аул... Умри же, аргал¹ тень смердящей собаки! Я буду мстить вам за каждый волос, упавший с головы моей невесты, пока не вырежу весь ваш поганый род!

Так рычал Дзахо в трясущееся от ярости ахильчиевского чичисбея², коего он выследил и подстерег на пустынной дороге в аул. Нукер Джемала – Нукка Тюркаев – хрипел, визжал зверем, неистовствовал, призывая в помощь Великое Небо. Его жилистые руки со скрюченными пальцами и выпученные глаза горели решимостью разорвать на куски юношу. Только не слышно было борьбы и криков в горах, у гремящего водопада. Не слышно их было в ауле близ Бамута.

Молод был Дзахо-абрек, слишком силен и опытен оказался Тюркаев. Сдавленный волосятыми ручищами, словно железными обручами, Дзахо рухнул с Нуккой на землю; вместе сканулись они вниз, к самой кипени стозвучного водопада.

– Пришел твой час, аргунский щенок! – Пальцы-крючья сдавили горло мстителя. Волк Тюркаев рвался к шее волчьими клыками, придавив руки Дзахо к газырям. И по мере достижения цели в глазах чичисбея все явственнее проступала звериная, всепоглощающая радость. – Ты, полукровка, сын собаки и ишака! – харкал слюной и проклятьями Нукка и все туже сжимал кольцо своих пальцев. – Если ты, пес, познал сладость запретного плода Ахильчиевых, так значит, все должны пред тобой на коленях ползать, да-а?! Род ваш – Бехоевых – самый захудалый в горах! Цххх! Пришел твой час... овца худородная!..

Но Дзахо Бехоев – плоть от плоти, с рожденья не был овцой. Полукровкой – да, но безродной собакой – никогда. Дзахо был одиноким барсом, а Нукка – одним из волков ахильчиевской стаи, хотя и матерым.

...Загрыз барс волка. Насмерть загрыз. Потому что дух снежного барса могучее, а кровь безумнее.

...Пальцы Тюркаева разжались, и он с разорванным кадыком с ужасе отпрянул от зубов Дзахо, ставших алыми от крови. Хрипя и зажимая башлыком рану, он попытался бежать. Но молодые ноги аргунца нагнали его. Бехоев накинул на голову нукера вонявший конским потом чепрак из козлиной шкуры и задушил. Задушил собственными руками, потому как было опасно стрелять... да и жаль было тратить свинец и марать благородный булат...

Вот и теперь, единожды бросив вызов судьбе, как суровую клятву, тянул слова древней абреческой песни Дзахо, неторопливо и монотонно вжикая о камень свой дедовский кинжал.

...Уа-лай-ла я-ла-лай...

Его мягкой постелью была черная земля...

¹ Сухой помет скота; применяется как топливо в безлесных местах Азии и горных районах Кавказа (*торк.*).

² Слуга, постоянный спутник замужней женщины, с которым она выходит на прогулку.

*Подушка его – чинаровые корни...
Одеяло – синее небо...
От голода он ел кизиловый лист...
От жажды пил росу...
Когда туман спускался на равнины – уходил в горы...
Когда туман в горах – уходил с конем на равнины...
По ущельям шел волчьим скоком...
На вершинах слушал голоса водопадов и орлов...
Родной его брат – винтовка... сабля – сестра...
Уо-да-дай, я-да-дай, да-дай-я, да-дай.
Уо-да-дай, я-да-дай-и-и-и...³*

Нукка Тюркаев был пятым кровником, с которым Дзахо свел счеты. Пятой зарубкой на прикладе его ружья, не считая застреленного им могущественного Тахира, коий пролил кровь Омара-Али, сына кузнеца Буцуса. Да... пятым... Но после сего деяния багровые тучи розовой мести еще плотнее, еще гибельнее сошлись над папахой аргунца.

Дзахо вспомнил последние рваные хрипы-угрозы кровника:

– Воллай лазун!.. Обошел ты меня... Такое не удавалось еще никому!.. Но знай... собака, теперь за твоей головой будут охотиться по меньшей мере триста стволов и кинжалов! Биллай лазун! Где бы ты ни был... тебя найдут и порвут на куски... Не рыскай возле Бамута! Там живет твоя смерть...

Бехоев был горец, со всеми чертами истинного горца, а стало быть, настоящего мужчины. Родина-колыбель его Аргуни – неподалеку от Ачхой-Мартана и Шали, неподалеку от Гудермеса, чуть далее от Ведено и Курчалоя – в Чечне все рядом и все далеко из-за ичкерийских гор и ущелий, из-за священных для мусульманина праздников и кровной вражды. А потому Дзахо знал: кавказцы-кровники любят, чтобы последнее слово оставалось за ними – такова натура горского характера, таков закон гор. Особенно если эти люди чеченцы...

Знал Дзахо-абрек и другое: всякое зло, всякое насилие имеет предел, установленный адатом и шариатом; знал, что два этих свода предков – есть дело и слово правды и справедливости в тех формах, кои установил родовой строй еще в седые, незапамятные времена. Но ныне по всему Кавказу гремела война с неверными, с Белым Царем... и ее алые реки смывали все правила и каноны. Мечь Ахильчиевского тейпа не остановит ни адат, ни шариат, ни почетные старцы, которые будут торговаться о маслаате, чтобы прекратить братоубийственную канлы.

Один лишь человек на Кавказе мог теперь положить конец этой кровной мести. Великий Шамиль из Гимры, владыка гор, третий имам Дагестана и Чечни, щит и меч горцев... Но не по его ли молчаливому согласию мюриды Джемалдин-бека – маленького падишаха⁴ – покарали жителей Аргуни?.. Не по его ли суровому решению золотая сабля Ахильчиева снесла голову праведнику Абу-Бакару?! Старцу было за сто зим. Старый Абу-Бакар под саблями шамилевских мюридов не просил пощады. Он был первым человеком в Аргуни. Он помнил первого имама Кавказа Кази-муллу. Он лично знал второго имама Гамзат-бека. Он один помнил до седьмого колена аргунских дедов и прадедов, как суры Корана...

Уа-лай-ла я-ла-лай...

...Пробуя ногтем, остёр ли его кинжал, Дзахо с суеверной трепетностью посмотрел на арабскую вязь, что текла витиеватым ручейком по голубой стали. Дзахо был гололоб и безграмотен, как и вся его родная Чечня, как ее гордый брат Дагестан, как без малого весь тогдашний Кавказ... Сын Аргуни знал с детства эту мудреную надпись:

Две песни, два лезвия, две стороны:

³ Чеченская песня о Зелимхане (записана А. Костеринным) // Гатуев Д. Зелимхан.

⁴ Титул бывших турецких султанов, персидских шахов, правителей – шейхов и ханов Афганистана (*перс.*).

О смерти врагов, о свободе страны...

Уа-да-дай, я-да-дай-и-и...

Недоволен остался осмотром Бехоев, терпеливо продолжил точить о камень кинжал, качая в такт головой... И вновь слышались слова старой печальной тавлинской песни:

...Вышел храбрый абрек к краю пропасти

И, зажимая смертельную на груди рану,

Крикнул окружившим его врагам:

– Живым не сдаюсь – больше одной смерти не бывает...

Вы же, шакалы и воронье, берегите свои хвосты...

Сказав так, начал стрелять из ружья храбрец...

Положил он на месте пульей,

Как охотник оленя, вождя своих кровников...⁵

* * *

Два дня и две ночи провел в мрачных скалах, высоко в горах Бехоев. Огонь разводил редко (только когда ел) в вырытой кинжалом лунке, надежно укрытой от чужих глаз плетенкой из можжевельных веток. Кто знает, посвятил ли он это время посту и молитве?.. Едва ли он отдал его и одинокому философствованию отшельника в дикой пустыне... Но то, что думал он долго и думал мучительно, как ему поступить далее, куда направить своего коня, – несомненно. *Modus vivendi*⁶ в его положении был невозможен. Следовало действовать, а потому Дзахо был настроен решительно. Как только над заставами хребтов зависал двурогий месяц и горы кутались в пестрое сумеречье туманов, он скрытно спускался в лощины, туда, где, зажатые в складках теснин, многоглазо светились огни аулов его врагов.

Камни и пепел развалин родной сакли неустанно шепчут абреку: «Если судишь по совети, забудь про закон, если по закону – забудь про совесть». И еще: «Мудрый способ ладить с кровниками – держаться от них подальше. А лучший способ – убить их всех». Вот и рыскал он бесшумной смертью по кривым улочкам спящих селений. Присматривался, таился, прислушивался... И по мере своих многократных вылазок все тверже и крепче затягивался узел убеждения в необходимости мести и зла для врагов во что бы то ни стало.

«Почему чеченец уходит в борьбу? В месть? В горах существует песня. В ней чеченский вечер. В ней чеченец, приютившийся на ночь под шкурой. Всякий разумный в таком положении должен уснуть... Но чеченец – нет. Он не разумный, он младенческий. Ему вольность мерещится, и рядом с вольностью смерть или тюрьма, железная жалость царского конвоя и лягз каторжных вериг...

– О, мое сердце! – тоскливо, хватая за душу, завывает чеченец. – К чему зовешь меня?! К чему кличешь? Ты же знаешь, горячее...

Вольность и смерть. Тюрьма и вольность. Три призрака на одном пути. И все же, будто заговоренный, поднимается чеченец, чтобы ускакать на коне во мраке ночи, чтобы стать абреком, чтобы отомстить».⁷

...Улочки аула, в который уже третий день с криками ночных птиц, удачно минуя посты часовых, проникал Дзахо, были пропитаны запахом овечьего сыра, навоза и прелью душистого кизяка, курившийся прозрачный дым которого мирно тянулся к звездам.

Час назад стихло надсадное пение муэдзина, и в ломком горном воздухе теперь отчетливо были слышны мычание коров и беспокойная переключка овечьего бляения.

⁵ Старинная чеченская песня (записана в Чечен-ауле Д. Курумовым от певца Саида Мунаева).

⁶ «Образ жизни» (*лат.*); условия, делающие возможными хотя бы временные правильные, мирные отношения между двумя (противными) сторонами.

⁷ Гатуев Д. Зелымхан. 1971.

Дзахо, до глаз закутанный в башлык, стараясь быть незамеченным, тенью скользнул в проулок, прижался к глинобитной стене чьей-то сакли, напряг слух и зрение. Во дворике, под навесом слышались гортанные звуки его родной речи споривших мужских голосов... Где-то на задах, у кукурузных сапеток, не то у конюшни, женщина отчитывала заигравшихся детей... Ниже по переулку, который вел к роднику, проявился тихий девичий смех; чокнулись друг о дружку боками медные кувшины... По приглушенному краткому звону Дзахо понял – они полны ключевой воды; значит, девушки возвращались домой...

...Внезапно за спиной послышался приближающийся лошадиный топот и говор... Бехоев не стал искушать судьбу, кошкой перемахнул через высокий, сложенный из самана и бута забор, нырнул через сады к амбарам, залег у плетня... Где-то загремела цепью собака, зашла в лае, но тут же стихла под властным хозяйским окриком... Абрек выдержал паузу, заскользил гюрзой далее...

Люди в горах ложатся на закате, напрасно лампы не жгут, предпочитают засыпать пораньше и подниматься с зарей – таков уклад. Работы и забот у горцев непочатый край. Тут тебе и чистка кошар, и выгон баранты, и объездка ретивых коней, и догляд за детьми, и то, и другое – только успевай загигать пальцы...

...Дзахо, держа ружье в руке, проник в третий-четвертый двор – припал ухом к приоткрытым ставням сакли, весь внимание и слух... В ту памятную ночь многое услышало ухо аргунского барса в волчьем логове Ахильчиевых.

Мужчины-воины делились мнениями, спорили о больших скоплениях русских войск в районе Кизляра, Моздока, станиц Наурской, Червленной и Шелковской... Говорили об угущающихся штыках гяуров в крепости Грозной, которая смердящей язвой уже второй десяток лет выгнаивалась на равнине Малой Чечни; о грядущих смертельных битвах с неверными и об оружии... Это тема особая. Горцы любят и почитают оружие, как и все мужчины мира, однако любовь эта у них на грани безумства и помешательства, сильнее страсти к женщине, выше заоблачных пиков гор. Бахвальство на сей предмет в устах кавказца предела не знает... Чеченцы, как и другие дети гор, больны эти недугом чрезвычайно. В особицу они уважают хвастать своим родовым оружием... Сделай шаг – спроси у кого-то о прадедовской шашке, кремневке деда или кинжале отца! – владелец станет часами вещать, где и когда, в какой переделке этим благородным орудием кровной мести убит был враг во благо святого дела.

Слышал Дзахо-абрек и о многом другом, но какие бы ни велись разговоры среди мужчин – все они заканчивались одним: мстостью аргунцам и зловещей горской клятвой – отомстить за позор тейпа, за гибель родни... Ему – бешеному псу Бехоеву.

Время – и друг и враг, оно способно сделать человека счастливым, богатым, великим, прославить в веках, а может и в одночасье затянуть петлю на шее. Время неумолимо. За все сокровища мира его не повернешь вспять. Время не прощает тому, кто забывает о нем, кто надменно поворачивается спиной...

Бехоев не забывал о сем правиле ни на миг. Вернее, в жизни его пролегла роковая межа, перешагнув которую, бег времени остановился. Остановился с того самого часа, когда сверкающая сабля Джемалдин-бека замахнулась над головой его Аргуни, сорвалась огнями пожарами вниз... и вновь взлетела – жуткая и чумазая от крови...

Теперь же течение времени было разлито в мести... Оно застыло в окаменевшем сердце абрека – в томительно-жгучем ожидании кровавой дани... Ночь лишь кажется мирной и тихой. В горском ауле и стены имеют уши.

Аргунец замер в рябой листве алычи, кожей ощутив, как пот проступил на его ладонях. Слева от него, чуть выше плетеного навеса, на плоской, как ладонь, крыше сакли лежал человек, укрытый не то буркой, не то медвежьей шкурой, и напряженно смотрел в его сторону. Чувствуя легкий щекотливый озноб, Дзахо тем не менее привычно положил указательный палец на спусковой крючок. Секунду держал – передумал. Рука осторожно легла на рукоять кинжала.

Человек на крыше меж тем продолжал буравить взглядом плодовые кусты своего сада, в которых укрылся абрек. Белки его глаз сыро блестели в лунном свете.

Дзахо насилу выдержал гипнотический взор, который, казалось, вгрызался в самое естество души. Вгрызался настырно, целенаправленно. Отвести глаза – значит сломаться, обнаружить себя малейшей ошибкой. Выдержать такой взгляд – свихнуться от напряжения можно...

Но Бехоев сам чечен. Бехоев родом из Аргуни. Чеченская воля и честь! Выдержал Дзахо; не выдал себя ни шорохом, ни звуком.

Однако ахильчиевец не успокоился, не доверился обманчивой тишине, природное чутье не подвело ичкерского волка. Откинув косматый полог, прихватив винтовку, он вскочил на сильные ноги, будто и не спал, спрыгнул вниз, споро направился к зарослям.

Дзахо собрался для броска – кинжал, вынутый из ножен, хладнокровно ожидал своей минуты.

Где-то за плетнем прочакали соседские деревянные башмаки. Истонченный серп месяца утонул в туче, но алмазные перстни звезд ярко светили на черной перчатке ночи, и в темноте были видны очертания крыш саклей и узловатых ветвей фруктовых деревьев.

– Эй, есть тут кто? – Высокий, стройный, как кипарис, чеченец приблизился вплотную. Одноглазая винтовка смотрела темным оком, определенно угрожая. Испепелив взглядом серебристую чернь листвы, мюрид раздраженно катнул чугуна желваков. – Эй, выходи! Стрелять буду!

Дзахо застыл – холодный ствол винтовки, хищно раздвинув ветви, уперся ему в грудь. В какую-то долю секунды Бехоев отчетливо разглядел каждый волос в густой бороде. В следующее мгновение аргунец молниеносно отбил дуло ребром ладони в сторону и тут же рванул его с силой на себя, шумно увлекая в кусты и ошеломленного горца.

– Ты-ы-ы-ы! – едва слышный хрип выцедился из проколотой насквозь кинжалом груди. Мертвенно-серое лицо исказил оскал муки.

– Аллах не любит суеты... в серьезных делах. – Выдернув клинок из-под сердца, Дзахо перешагнул через распростертое тело и, прихватив винтовку, бросил через плечо: – Я подарил тебе слишком легкую смерть, борги. Не каждого кровника можно простить, даже если он мертв. Но тебя... я прощаю... Ты был смел и похож на «мзаго»⁸.

– Эй, Вахид... сынок, что за шум? – На пороге сакли показался жилистый старик в тюбетейке. В одной руке он держал костяные четки, в другой охотничье ружье. Глаза его настороженно метнулись в темноту, чуя неладное...

Но Дзахо-абрек уже перемахнул через высокий забор и вскоре был за пределами аула... Быстро отвязав от чинары своего брата-коня, Бехоев вложил ногу в стремя, беззвучно перекинул крепкое тело, сел на подушку седла и, держа наготове ружье, неслышно растворился во тьме.

⁸ По-черкесски «лунный луч».

Глава 2

Дзахо ушел в горы, от всполошившегося аула, но ушел недалеко, как барс-людоед, однажды отведавший человеческого мяса. Притаившись в гранитных изломах скал, он терпеливо наблюдал сверху за мечущимися огнями разбуженного криками и пальбой селения. В прохладном хрустале горного воздуха отчетливо был слышен гул возбужденных голосов и захлебистый лай пастушьих собак. Сначала он доносился от мечети, затем разлетелся картечью по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям всего аула.

Дзахо мрачно усмехнулся в шелковистую чернь усов, заметив, как несколько всадников стрелами понесли к перевалу. Он знал: переключка вестями в горах летит, что птица. Уже назавтра, к вечернему намазу, примчатся удалыцы с ближайших селений. У горцев в таких случаях разговор короток – кликнул родичей, схватились за оружие, и на коней. Уже сегодня, быть может завтра лучшие следопыты выйдут искать его след.

«Воллай лазун! Убьют так убьют... Абрек готов умереть молодым. Но на Небе есть еще и Аллах... возблагодарим Его... возможно, Он даст выбор: погибнуть сразу или испытать удачу. Биллай лазун! Ты, Джемал-волк, силен властью и знатностью, покровительством самого пророка Шамиля... Крепок ты и святостью домашнего очага, численностью семьи и своими мюридами. Я же, Бехоев – мезью».

Меж тем оживление в ауле усилилось: беспорядочная пальба в звездное небо мужской половиной продолжалась; кривые ущелья узеньких улочек ярче рассветились огнями факелов. Издалека непосвященному глазу могло показаться, что во дворах справляли разгулявшуюся в ночь шумную горскую свадьбу: та же стрельба от избытка чувств, тот же гам и крики вошедших в раж сородичей, та же кипень и суета... Не было слышно только ритмичных раскатистых звуков бубна и барабана, сердце не раскаляли зажигательные струны чонгура⁹, молчали зурна и кеманча¹⁰, были немы пандур и свирель... Не долетали до слуха обрывки зазданных речей молодым... Да и сами люди, если хорошо присмотреться, отнюдь не плясали лезгинку; не было среди них и лихих танцоров, на грациозные, отточенные коленца которых залюбовался бы остановившийся странник-дервиш¹¹.

... Не удовлетворенный выбранным местом, Дзахо стреножил своего аргмака и, прихватив с собой только оружие, бесшумно перемещаясь меж зарослей орешника, спустился ниже по склону. В этих местах кизилловые деревья произрастали на скалах немислимым образом, запуская железные корни-щупальца в базальтовую гряду. «Везение – второе счастье, вдруг повезет...» – Бехоев нашел ложбинку в замшелых камнях – втиснулся, вжался, окаменел, что хищник у водооя, – аул теперь был как на ладони.

Рядом шурхнула в траурной прошлогодней листве вспугнутая ящерка. Юрко взбежала на высохший комель, застыла хвостатой медью, глянула на абрека, стремглав скользнула в родную щель...

Дзахо, на мгновенье отвлекшись, не сразу заострил внимание на том, что среди скопища горланивших сельчан, потрясавших оружием, на площади возле мечети (куда было перенесено тело убитого им Вахида) случилась перемена. Не сумев еще толком высмотреть, что к чему, он инстинктивно почувствовал: это именно то, ради чего он здесь...

«О Всевышний, благодарю Тебя... Бисмилла, аррахман, аррахим...»

⁹ Старинный народный струнный музыкальный инструмент на Кавказе (*груз.*).

¹⁰ Зурна (*перс.*) – древний деревянный духовой музыкальный инструмент (род свирели с 8–9-ю отверстиями и растробом), распространен среди кавказских народов; кеманча – смычковый инструмент народов Закавказья, имеет три или четыре струны, длинный гриф и шарообразный корпус, затянутый бычьим пузырем.

¹¹ Нищенствующий мусульманский монах (*перс.*).

Крадливо выставив длинный ствол крымчанки и треть укрытого башлыком лица над грядой, Дзахо впился глазами в происходившее...

Бестолковая толчея толпы прекратилась, виночерпие криков, угроз и клятв в кровной мести сошло на нет... Слышны были только истошные восклицания старой Сайты – безутешной матери убитого.

Горянки от сотворения мира делятся на две половины. Первые, необузданные и ретивые, словно необъезженные кобылицы, способны по-любому поводу впасть в кликушество, с дикими воплями, рванием волос на себе и раздиранием щек ногтями до крови. Вторые, напротив – забытые и покорные, тихие, незаметные, как тень от сарая, беззороотно сносящие любые удары судьбы.

– Уймись, женщина! Замолчи!

Сайта вздрогнула костлявыми плечами и стихла, ощутив на своих давно выцветших, иссохших губах, мужскую решимость и силу пальцев Джемалдин-бека.

Ахильчиев неторопливо вышел на центр освещенного огнями круга. В белой бурке, с неизменной золоченой саблей на поясе, в папахе, опоясанной чалмой, он был спокоен и величав, как персидский шах. Джемал никого не удостоил вниманием, ни разу не взглянул на убитого. Единожды он посмотрел в густой, непроглядный занавес тьмы, как раз туда, где скрывался до сроку, его ненавистный кровник. Посмотрел пристальным, заледенелым, немигающим взором, как лютей зверь, коий чует опасность.

У Дзахо против воли мороз прошел по хребту – волчий то был взгляд, таивший верную смерть. Нет, не зря выслеживал мститель-абрек, мок до костей под горными ливнями, лязгал зубами от холода суровыми ночами, голодал, укрывшись в скалах, не смея покинуть засады... Наконец-то он увидел кого искал, не ошибся... Джемалдин-бек – его Джемалдин-бек, его добыча! Вот он стоит перед ним, окруженный мюридами, – кряжистый, крепкий, как ясень, выше среднего роста, волевое лицо, широкий выпуклый лоб с хищным клювастым носом, тяжелый, пронзительный взгляд. «Не человек, а беркут. Достойный враг, опасный соперник. Уо-о! Настоящий ичкерский волк!»

Бехоев приложил винтовку к плечу, словил на мушку голову кровника, долго целился... Абрек не может позволить себе промаха. Не может попусту открыть себя. Абрек должен бить наверняка. Дзахо настоящий мужчина. Он ни какой-нибудь вор-абрек, ни грабитель-абрек. Он абрек-мститель, который, когда убивает, будто сам Аллах убивает.

Бехоев сладострастно положил палец на спусковой крючок: «Прощай, Джемалдин...»

В этот миг, точно предчувствуя беду, колыхнулись папахи-горцев – закрыли своего вождя.

«Волла-ги! Будь проклят ваш род гюрзы! – Дзахо заскрежетал зубами, в отчаянии опустил ствол. В его запавших от бессонницы и усталости красных глазах запрыгали, заплясали бордовые языки пламени.. – О Небо... Пусть расступится твердь и поглотит меня, если я иду... по неверной тропе!»

Страшен был Дзахо в своем исступлении: темные судороги уродовали исхудавшее лицо. И вновь, как тогда, на пепелище родного аула, Бехоева сотрясло бешенство от бессилия, от невозможности изменить всесокрушающий слепой ход судьбы; вонзить в ее бездушную суть булатный кинжал, пригвоздить свинцом к отвесной скале. Но если тогда он терзался невозможностью предотвратить гибель обезумевшего от резни Аргуни, то теперь – от упущенного, столь судьбоносного выстрела...

Сами люди аула в глубокой тишине напряженно ждали решения старейшин и весомого слова Ахильчиева. Долго совещались седобородые судьи, сердито потрясали посохами, качали колючими бритыми головами, жарко взирали то на труп Вахида Данагуева, то на стоявшего со своими нукерами мюршида.

Наконец плотное кольцо старейшин треснуло, распалось. Все вернулись на свои места. Народ взволнованно ждал приговора. И среди общего настороженного молчания зазвучала речь патриарха тейпа Ханашаши.

Однако из-за слабости голоса старца Дзахо не расслышал сказанных слов, зато услышал раскаленные, как угли, слова Джемалдина-бека:

– Это был он! Его след – Бехоева! Опять скрылся, шакал... Зарезал и ушел... Наш брат Вахид – седьмой на его счету! Волла-ги! До него были: Тахир, Адоду, Магомет, Алимхан, Эдиль-Гирей, Нукка... и вот теперь Вахид! Цххх! Все были мужчины. Горцы. Воины. У всех остались дети... У Вахида – трое. У меня и у вас тоже дети... Отомстим за кровь! Будь проклят, шайтан!

Ахильчиев вновь ненавидяще полоснул огненным взглядом немые контуры черных скал и, проникновенно воздев к небу глаза, как истинный мусульманин, поклялся Аллахом:

– Э-э-эй! Я знаю, ты слышишь меня! Помни, Дзахо... Помни, сын шакала, я все равно найду тебя... Вырежу кинжалом твое сердце и брошу его на съедение собакам моего аула. Билла-ги! Если ты мужчина, объявись на моем пути! Если нет, бабьи хечи надень и уйди с дороги.

– О, Джемал! Защитник наш... Да осветит твой путь Аллах! Спасибо тебе! – Мать убитого рухнула на колени, по-собачьи, на четвереньках подползла к беку и, цепко схватив узловатыми, изработанными пальцами его кисть, иступленно стала ее целовать, орошая слезами. – Убей! Найди и убей его, благородный Джемал! Ты ходишь по земле в лучах милости самого Аллаха... Ты сможешь! А-а-а-а... да-дай-и-и!! Вырежи их всех до седьмого колена, Джемал!!!

Мюршид холодно отдернул кроваво мерцавшие рубинами пальцы, свел воедино и без того сросшиеся грозные брови. Понятливые сестры старухи, Хабибат и Хайкяху, под руки волоком оттащили впавшую в безумие мать.

– Хаджи, – все тем же твердым, не терпящим возражений голосом произнес Джемалдин. – Ты останешься за главного вместо меня. Часть людей отправь по следу аргунского пса... Остальные пусть охраняют ущелье. Сердце вещает мне: новая беда сторожит наш аул.

– Куда же ты отправишь коня, бесстрашный Джемал?

Ахильчиев поднял голову, взгляделся в гудевшую роем толпу. Непреклонный взгляд его встретился с беспокойным взором Ханашаши. Белый, как лунь, старец – духовный наставник тейпа, к которому принадлежал и сам Джемалдин. Ханпаша в ответе как за нравственное, так и физическое состояние каждого горца аула.

– Так ты покидаешь нас... в этот скорбный час? – с глубоким вздохом повторил свой вопрос духовник. – Наши люди столь убиты горем, что ножом не разомкнуть им рта.

– Да, уважаемый, покидаю. Но не по своей воле, – сверкнул глазами мюршид. – Послушники наиба Тарама¹² принесли на остриях сабель весть от Шамиля. Завтра, на рассвете, в наше ущелье прибудет сводный отряд мюридов – известные в горах имена... Мне велено повести их к излучине Сунжи... задержать гяуров, что идут в Грозную. Кто может перечить священной воле Газавата?

Джемалдин умолк. Молчал и Ханпаша. Угрюмо понурил он белую от седин голову, ровно непомерная тяжесть легла ему на плечи и согнула его. Перебирая бирюзовые четки, он глубоко вздохнул и, шаркая кожей чувяков, отошел от Джемала.

* * *

...Утром следующего дня, как и обещал Ахильчиев, с первыми стрелами рассвета из пуховых перьев тумана, точно призраки, один за другим объявились семь всадников; закутанные в башлыки и бурки, из-под которых торчали винтовки, они осторожно выехали на пустынь

¹² Наиб Сунженского наибства в Большой Чечне.

ную площадь перед мечетью, зорко огляделись, спешились, почтительно приложили руки к груди, поклонились вышедшим им навстречу старейшинам и окружившим их часовым.

... Чуть позже, после обмена приветствиями, из зева каменных челюстей вырвался еще один верховой, покружился на приплясывающей лошади, получил знак от своих, вытянул гривастую бестию плеткой и так же стремительно умчался прочь.

... Дзахо, шепча молитву, крепче сжал в онемевших пальцах винтовку. По каменной посадке он узнал горца; усталым, настороженным взглядом провожая косматую бурку, качавшуюся над лошадиным крупом, тяжело вздохнул. Цепкая память абрека не подвела. То был убийца неверных, неукротимый великан Гуду. Харачоевский Гуду! – искуснее воина и разведчика в Ичкерии трудно сыскать...

... Через четверть часа – ожило ущелье; зацокали без опаски десятки лошадиных копыт, с седел и крыш домов полетели знакомые фетиши кавказского гостеприимства. Аул, как потревоженное осиное гнездо, закишел людьми, улочки запрудились всадниками, вооруженными сельчанами, горластой, вездесущей ребятней.

... Джемалдин-бек на прощанье прямо с седла обнял свою любимую семью, ни дать ни взять, как беркут над гнездом укрывает сильными крыльями своих птенцов... Тут же сказал что-то двум мюридам, охранявшим его родных, отпустил их властным взмахом руки... Затем, потрясая над папахой винтовкой, он диким галопом промчался вдоль длинных рядов притихших сородичей, оглашая аул воинственным кличем тейпа, призывая всех горцев Кавказа в священном порыве, как завещал Шамиль, опрокинуть русских за Терек, объединить в железный кулак магометанские племена от моря до моря, окольцевать их пояс единой всепокрушающей саблей Ислама, а тем, кто будет поднимать головы, – срубить их на устрашение врагам.

Дзахо, супротив собственной воли, был зачарован действием. Площадь кричала Джемалдин-беку, словно пророку: «Ля илляха иль алла!», потрясала оружием, гарцевала на лихих конях, готовая хоть сейчас к священному походу.

Канула в вечность пора прощанья – сводный военный отряд во главе с Ахильчиевым погнался на север, туда, где неторопливо катила свои темные воды ленивая Сунжа, туда, где саранчой стрекотали пролетки русского командования, где дрожала земля от русского сапога, где бесчисленные копыта казачьих сотен вытаптывали вольные пастбища равнинной Чечни.

* * *

«... Баркалла, Джемал. Теперь я знаю тропу твоего коня. Якши». – Дзахо тронул пятками застоявшегося аргамака; не оглядываясь на дымы аула, прибавил ходу, с бойкой ступи перешел на пружинистый скок, но в галоп не полетел, крепко держа в голове: «Быстро помчишься – медленно понесут».

Глава 3

Есть у горцев Дагестана легенда о сотворении человека. Откуда взялся ОН на Кавказе, как возник, где начало, где исток, где корень свободолюбивого рода горцев?

«...На земле уже водились тысячи разных зверей и птиц, и были на земле в изобилии их следы, но не было среди них следа человека... У водопоев и на равнинах, в лесах и на горных перевалах слышались разные голоса, но нигде не слышно было человеческого. Мир в те седые, первобытные времена походил на рот без языка, на грудь без сердца.

В небе над этой землей парили орлы, сильные и отважные птицы. В тот день (о котором идет речь) шел непроглядный снег. Духи земли, воды и неба не могли найти между собой согласия... Небо затянули тучи, землю заковал снег – все смешалось, и нельзя было понять, где земля, а где небо.

...В это время возвращался к своему гнезду могучий горный орел, у которого крылья были подобны саблям, а клюв – кинжалу.

Он ли забыл о высоте, высота ли забыла о нем, да только со всего лета ударился он грудью о твердую скалу.

Племя аварцев говорит, что это случилось на горе Гуниб, племя лакцев уверяет, что это произошло на горе Турчидаг, лезгины – на Шахдаге... Но где бы то ни было, скала есть скала, а орел есть орел. Недаром же говорят аксакалы: «Швырни камень в птицу – птица погибнет, швырни птицу о камень – птица умрет».

...Не первый орел разбился о скалы... Но этот, у которого крылья были подобны саблям, а клюв – кинжалу, – выжил. Крылья переломались, но сердце билось, уцелел острый клюв, уцелели железные когти.

Пришлось ему бороться за свою жизнь. Трудно без крыльев добывать пищу, трудно без них отбиваться от злых врагов на равнине. Все выше и выше забирался на скалы орел, с которых любил, бывало, оглядывать окрестные горы, где его сородичи сооружали гнезда...

...Во время всех этих трудных дел плоть орла изменилась, другим стал и внешний облик. И когда гнездо наконец было построено, оно оказалось саклей, сам бескрылый орел оказался горцем.

Встал он на ноги, расправил широкие плечи, и вместо сломанных крыльев у него выросли руки; одна половина клюва превратилась в обыкновенный нос, вторая – в кинжал, висящий у горца на поясе. Одно только осталось неизменным – сердце. Оно осталось прежним – орлиным сердцем, которое и по сей день хранит в груди горца извечный огонь – огонь преданий, огонь любви к отчему очагу». ¹³

– Помни об этом, сынок. Не забывай никогда, – целуя перед сном Дзахо, ласково добавляла мать, закончив сказание. – Видишь, как трудно пришлось орлу, покуда не превратился он в горца. Ты должен ценить это, мой маленький борги. Носить о сем память, чтобы вырасти настоящим орлом – защитником своего народа.

* * *

...Так это было в седые времена или нет, Дзахо Бехоев не знал, но знал неоспоримо одно: среди прочих птиц горцу дороже всех образ орла. Ведь не случайно смелого, гордого человека на Кавказе издревле зовут не иначе – орлом. «Родился сын – счастливый отец возглашает: у меня родился орел! Дочь возвратится откуда-нибудь домой проворно и быстро, мать обязательно скажет: прилетела моя орлица...»

...Есть в горах и другие легенды.

¹³ Гамзатов Р. Мой Дагестан.

Когда мудрые думают о превратностях судьбы в этом мире, когда отцы вспоминают погибших вдалеке от родных становищ сыновей, или когда сыновья вспоминают о сложивших головы отцах, считают, что не горец произошел от орла, но орлы от горцев.

Потому-то на дверях старинных домов, на колыбелях, ни кинжалах и саблях нередко встречаются чеканка и строгий облик орла. Потому-то горцы Кавказа всегда смотрят в небо с любовью, с надеждой. Так же смотрят они и на гордо парящих орлов. Бесконечно любят горцы свободное синее небо!

Помня все это, храня с детства, как святыни, легенды и песни родного ущелья, Дзахо глянул в бездонную, головокружительную синь Великого неба. В его черных, сверкавших как сырой агат глазах, отразился белый рай облаков и алмазные пики искрящихся ледниковых гор, отразились в них и вольные крылья парящих орлов. Но... вместо света и радости тень муки легла на его чело, губы мертвенно побледнели. «Кто я? Что делаю? Чью проливаю кровь?!» – Дзахо зло натянул узду, спрыгнул с седла, покачнулся, едва не упал, но удержался на ногах. Долго стоял он так в молчании, обняв рукою крепкую шею коня; стоял с застывшим, затуманенным думой взором.

«Разве я не люблю свою землю? Свой народ?.. Разве сердце мое не клокочет ненавистью к гяурам? Я ли не чту обычаи наши?!» – Дзахо сдал ослабевшими руками голову, тяжело сел на ствол расщепленного бурей дуба. Скрытое раскаянье когтило измученное сердце, глухое сомнение терзало душу.

«С кем ты, Дзахо? Почему не со своим народом? – жег вопросами тайный голос. – Почему ты не вернулся в отряд Занди? Отчего не ушел к Шамилю? Почему не мчишься сразиться с общим врагом?! Знай, люди не простят измены... Предателю нет места на священной земле предков. Или ты позабыл клятву горца: человеком родился – человеком умру! Разве не учил тебя с колыбели отец: продай поле и саклю, потеряй все, но не продавай и не теряй в себе человека! Быть может, ты забыл проклятье горцев: пусть не будет в вашем роду ни человека, ни коня!»

– О Аллах! Наставь, наставь заблудшего на истинный путь! – как одержимый, заклеывал себя Дзахо; бродил разъяренным, раненым барсом среди скал, пугая своего коня. Одежда его была разодрана в клочья, дикий взгляд затравленно блуждал от гудящего роя жалящих мыслей. – О Небо, прости меня, если я совершаю ошибку. Честью своей клянусь, я старался жить по законам адата, судить по вразумлению Твоему – око за око... Но если спокойствие Аргуни требует, чтобы я был отвержен от тейпа, от своей родни... так у меня ее нет! Всех вырезал Джемалдин! Знаю, изгнанника может сопровождать лишь жена... Но и ее убил ахильчиевский род... Так что прикажешь мне делать? Кто я? Кто я теперь?! – дрожа от ярости, срываясь на крик, неистово вопрошал Дзахо. – Убей меня, убей! Вот он я! Сделай доброе дело! Если достоин кары Твоей – не надо щадить меня! Ну что же Ты молчишь, Великое Небо? Почему молчите вы, горы Чечни?! Иль вам... не жаль своего сына, вскормленного вашей грудью?.. Но кто тогда отомстит кровникам? Кто смоеет позор рода? И чей позор более страшен? Того, кто предал Газават... иль того, кто предал смерть своих братьев? А может, вы хотите, чтобы стон отчаянья вечно рвал мою грудь? Так знайте, не будет этого... Дзахо не станет жить опозоренным, на радость врагам!

Он упал лицом на камни, грыз землю, катался по склону, бился наголо бритой головой. Лишенный разума, шатаясь из стороны в сторону, он выхватил из ножен кинжал. Обугленное сердце вскипело, беспощадная мысль выжглась в обезумевшей голове: «Колдовством и наветом, черной ворожкой... погубили меня!.. Прощай, моя честь! Для чего жизнь, опозоренная однажды!..»

И он замахнулся отточенной сталью, чтобы насквозь пронзить исступленное сердце, чтобы жизнью своей заплатить за мгновенное счастье смерти. Но не было избавленья Дзахо... Казалось, сама твердь земная содрогнулась под ногами абрека, а следом низверглись небеса.

Огненный туман закрыл мир, и будто чья-то незримая всемогущая рука вырвала из его онемевших пальцев кинжал...

...Высокие переливчатые голоса птиц истаяли вместе с пламенем заката во тьме...

...Ручилось, звенело время беспомыслия между замшелых камней... и когда Дзахо вновь смог воспринять мир, то узрел лишь стоявшую над ним могильную тьму: ни звезд, ни звуков, ни движения. И вдруг в ночной тиши разом распух дикий рев... словно испуганный насмерть табун, ломая жерди загона, вырвался в степь...

Из распадка ему вдогон летел разноголосый, надрывистый волчий вой... И от далеких тернов, перепоясавших гору, откликнулось рваное эхо.

Дзахо насторожился, взялся за оружие, рыская взглядом во тьме – тщетно... Но когда промокнул горевшее лицо горстями студеной росы, волшебным образом прозрел; он был в раю, в чудесном ущелье эдемских садов Джанны. На серебряном дне его говорливо бежал сапфирный ручей. Девственной изумрудной травой зеленели склоны. Золотые нити тропинок змеились по ним в прекрасные, затканые снежным молчанием выси.

– О, Небеса... Зачем так жестоко шутите надо мной?! – Камень сердца порывисто дрогнул в груди Дзахо, совсем как тогда, у фонтана, в робкую пору первой дымки сиреневых сумерек... Он не мог поверить своим глазам, не мог напиться сказочным миготом счастья... Он видел ЕЕ – свою Бици... о красоте которой горские пастухи слагали песни, превознося ее чуть ли не до небес. Прекрасная горянка сидела на камне, возле чароитового родника, и набирала в журавлиное горло медного кувшина прозрачную воду...

Не смея спугнуть чудесное видение, Дзахо бесшумно скользнул в муравчатом шелке травы, крадучись, как барс, спустился к журчавшей воде, у которой замерла пугливая серна, затаил дыхание... Боже! Как желанна, как гибельно хороша была девушка. На юном смуглом лице из-за нежного бутона губ сверкал перламутр ровных зубов. Темные, что чеченские ночи, глаза, обрамленные верной стражей длинных ресниц, пленяли любое сердце. Иссиня-жгучие косы с блестящим отливом змеились по ее плечам, служа предметом зависти многих аульских невест.

Юница, набрав воды, качнула стройным станом – поставила возле себя запотевший от холода родниковых струй тяжелый кувшин. Ветер с гор трепал ее длинный, по щиколотку, розовый бешмет, перебирал воздушными перстами на шее пушистые завитки волос. Продолжая сидеть на камне, Бици клонилась вперед, обняв гибкими руками целомудренно закутанные в голубые газовые хечи колени, и Дзахо, провожающий жаждущими глазами каждое движение любимой, видел ясно вылегающую под ее рубахой продольную ложбинку на спине, схваченные у пят бирюзовые шнуры женских шальвар...

...Она, точно почувствовав на себе пристальный взгляд, обернулась, и сердце Дзахо кольнула острая боль. Печальны были глаза Бици, блестящие ломким стеклярусом слез. Грустная песня – ясын, что поется на смертном одре для успокоения душ усопших, лилась из ее уст:

– Ясын вель кран иль хахим ин нага... ля минал мирсалим...

Так пела и смотрела в его сторону Бици, но, не углядев в изумрудной ряби травы притаившегося джигита, тихо поднялась с камня. Две крупные капли зависли росинками на черных стрелах ее ресниц. И все больше сбегало тех горьких росинок, срывалось и падало на горячие щеки, – горянка беззвучно рыдала, тонкие пальцы листьями ивы трепетали на скорбных губах.

Выше сил Дзахо было видеть плачущую Бици. Не выдержал он, окликнул свою любовь, бросился навстречу.

Девушка вздрогнула, обернулась, кувшин выпал из ее рук. Словно замороженная, смотрела она на него, пыталась что-то сказать и не могла.

– Душа моя, что с тобой? Отчего плачешь?! – Дзахо упал на колени перед нею, увлек за собою, долго не снимал горячей руки с ее плеча. – Скажи мне, родная, скажи! Зачем сторонись?... Разве не твой я суженый?

Горянка молчала, не в состоянии овладеть собой, наконец молвила тихо, будто прошестел ветерок:

– Дзахо! Милый... откуда ты? Почему здесь? Горе мне... Разве убили тебя? – Бици – вся тревога и страх – замерла и долго молчала, сидя с опущенными глазами. Слова молитвы застревали в гортани.

– Нет, любимая, нет! Живой я, как видишь... На, ущипни меня, дотронься, ударь... – Дзахо, не зная, как успокоить сердце Бици, с болью и состраданием смотрел во влажную поволоку ее глаз. – Но верь, жизни мне нет без тебя, родная! Хоть сейчас я готов расстаться с ней! – И он, в кипящем порыве страсти – навеки соединиться с любимой, разом схватился за рукоять кинжала.

– Нет! Не смей!! – Бици встрепенулась испуганной птицей, глаза ее сверкнули, бледные щеки зарделись персиковым огнем, на губах дрогнула... а затем качнулась бывшая легкая девичья улыбка. Точно ища защиты, протянула она руки к своему избранному. Дзахо был рядом. Пламенным взглядом он согревал свою горлицу. Нет, не сумел он убить свою страсть в долгой разлуке, не смог он забыться и в диком хмелю кровной мести... Ни смерть Аргуни, ни абречество не выжгло его любовь. Дрожавшие губы Дзахо, спекшиеся от молитв и скитаний, как прежде шептали одно только имя, и не было ничего под солнцем желаннее этого слова.

– Бици, Бици!.. – замороженно повторял он, вкладывая в сей призыв все сладкое безумие души. И сила этого зова покоряла горянку, и гибкое тело ее клонилось к его широкой груди. Их влюбленные взгляды, как тогда в кунацкой, за песнями, встретились... И как тогда, могли пронзить любого, с умыслом или случайно, оказавшегося в их скрещении.

– Дзахо...

– Бици...

Нахлынувший ветер сорвал лечаки¹⁴ с ее головы и бросил пахнущую горными травами и цветами прядь вороных волос в лицо Дзахо. Последние силы покинули их, и ждущие губы слились в поцелуе.

Страстны и горячи были их ласки в волшебном ущелье эдемских садов Джанны...

Перед глазами Дзахо вдруг закружились златокрылые ангелы, словно в сладком дурмане, поплыли образы и картины – одни ярче других, искрящиеся, как слюда персидской парчи на изломах причудливых складок... Они, будто быстрые рыбы, скользили в прохладных прозрачных струях родных горных рек... Видели невидимое прежде – узорчатые шеренги арабской вязи, высеченные резцом древности на мраморных плитах, на колоннах зеленого туфа¹⁵... Их тайный, немеркнувший смысл вещал им на родном языке высокий клекот золотого орла, парящего в синем безбрежье неба...

...Белый, сиреневый, розовый, желтый и голубой цвет горских фруктовых садов застил им взор, радовал уставшие сердца...

...Слух ласкало мирное блекотанье тучных отар, застывших белыми снегами на малахитовых склонах...

...Дзахо в смятении... Он видит Буцуса; его сожженные загаром и работой руки угольно чернеют на белом руне бурки, крепко сжимают они ошкуренный посох... Он что-то кричит им, в приветствии поднимая мозолистую ладонь кузнеца...

Но тут же сквозь дым огнеликих пожарищ мелькнул в волчьем оскале профиль Джемалдина, грозно и зло сверкнула в его руке алая полоса дымящейся сабли... И чья-то голова, полосатая кровью, забрыкала по серому щебню аульской тропы...

Дзахо до рези в глазах впился в это лицо: на нем виднелись лишь залитые кровью белки глаз да черный рот, разорванный немим криком. «Абу-Бакар!» – выстрелом ахнуло в голове...

¹⁴ Женский головной убор, разновидность платка (груз.).

¹⁵ Горные породы вулканического или осадочного происхождения; туф служит строительным материалом.

глаза заволкло дымом и пылью... И снова гремели выстрелы, и шашки мюридов свирепо взлетали к черному солнцу, и вновь рубили, полосовали по спинам и папахам бегущих аргунцев, и где-то под обрушенной стеной сакли кричал тонким от ужаса и боли голосом обезумевший ребенок...

– Бици-и-и! – Дзахо, дрожа скулами, удерживая дыхание, заплотшно искал взглядом любимую...

... Широко и вольготно взмахнули могучие крылья орла... Звонкий ветер тонко, с надсадой засвистел в тугих золоченых перьях... Вот оно! – гремит водопадом аульское вздошье. – Там, впереди... Вон, вон, под тобою... Дзахо крепче сжимает руку Бици – они сами теперь вольные птицы, парящие над своим гнездом... И правда – вот ОНО под ними – голубое с прозрачной студеной дымкой – родное ущелье из детства... Серебряная струна реки изгибается, вьется, пенится радужным кружевом на глянцевых перекатах, сеет хрустальной дробью окрест...

– Дзахо... – слышит он твердый голос отца. – Помни, сынок, в мире есть только три песни: первая – песня матери, вторая – песня матери, а третья – все остальные. Наш народ, приглашая к себе в гости, говорит: «Приезжайте к нам. Наши горы, наш родник и наши сердца принадлежат вам. У нас земля – земля, сакля – сакля, конь – конь, человек – человек. И ничего третьего нет между ними».

Он видит мать в долгополом нарядном платье, в руках ее щедрое блюдо с густыми гроздьями винограда. Они светятся южным солнцем; каждая ягода полна прозрачным золотом меда, но отчего-то печальны материнские глаза... А где-то кипит веселье, кумузы¹⁶ и бубны не знают усталости... Старый Абу-Бакар вошел в круг и плывет-летит, распластав седые мощные руки-крылья. Вокруг, в такт его жгучему горскому танцу, хлопают ладони радостных людей. Как пышные цветы высятся над рядами собравшихся курчавые папахи, мужчины одеты в воинственные костюмы предков.

... И вновь он крадется хищным зверем среди сырых скал, вдоль спящих домов своих кровников... Боль извивается червем в пылающей ране; горячий свинец застрял в его плече... но столь желанен час мести! И столь близок миг, когда его клыки познают вкус крови врагов...

... Тяжело на душе Дзахо-абрека, словно могильный камень давит на грудь... Где зло, а где добро, разлитое в его жизни?... «О, Аллах! О, начертанная на разящей стали премудрость Пророка!¹⁷ – все переплелось в моей жизни... срослось корнями с кроной, пронизано светом и тьмой!»

¹⁶ Струнный инструмент, распространенный в Средней Азии и на Кавказе.

¹⁷ Речь идет о раздвоенном, как жало змеи, клинке, на котором вытравлены слова Пророка.

Глава 4

Чувство неотвратимого близкого конца острой болью пронзило сердце Дзахо.

...Казалось, рушилось мироздание, рушился горний чертог, крушились праздничные столы с ароматной бараниной, сыпались яства, проклятья; в толпе замелькали дедовские кинжалы... Из золоченого рога альпийского тура жадно ручьилося бордовое вино, больше похожее на кровь... И не было более крылатых ангелов в небе, исчезли прелестницы с изумрудными глазами, что танцевали в райском саду; исчезла виноградная лоза с резным листом, а вместе с нею и пыльный дворик отчего дома, согретый лучами низкого солнца, заштриховался пеплом образ матери и отца, стоявших рядом с его боевым конем...

Канула в Лету и его Бици – отчаявшаяся рука Дзахо напрасно искала горячую нежную плоть. Не было больше черной россыпи пышных волос, не было дышащего жаром округлого живота, не было юных, не успевших созреть персей, напряженную девичью твердость которых так хотела ласкать неискушенная рука юноши; не было и того цветного воздуха, что яркой радугой стоял над ними.

...Внезапное сознание пустоты кипятком обдало сердце, обожгло горло, раскалило виски, выбило из глаз горячую влагу. Звериный рык вырвался из его пробитой болью груди; он дико царапал землю, крутил гололобым черепом, который кроила ветвистая молния напряженных, черных вен.

И вновь забытье. Минута, две... час... три?... Об этом знают лишь духи гор... Дзахо лежал с дрожащей грудью, в изодранной шипами тернов черкеске; высоко задрал кадык и черную кольчугу свалывшейся бороды, он силился взглядеться, понять, где он и с кем, но чуял лишь дурной запах крови и пота... так пахнет смерть, которая стоит в изголовье и терпеливо ждет своего часа...

Проклиная судьбу, абрек хватил вокруг огненным, полным ненависти взглядом, ровно плетью, обжег молчавшие скалы и... снова со стоном откинулся наземь.

...Полдень. Воздух теперь не дышал ароматом теплого женского тела – медом и молоком, он даже не пах козьем сыром и кизяком... Кто-то большой и жаркий, в облаке прелого духа, мерцал над ним алым налитым оком. Сморгнув последние клочья беспамятства, Дзахо осмысленно огляделся.

– Алмаз... Алмаз... – Он протянул пачканную землей руку, искобленные в кровь пальцы коснулись настороженного влажного бархата ноздрей жеребца, колючей и сальной гривы. Верный друг не ушел от него, не бросил: тыкался тугогубой мордой в плечо хозяина, будил его вспуганным реготаньем, перебирал в нетерпении выточенными ногами, шарахался крупом по сторонам.

Аргунец, ухватившись за стремя, поднялся на непослушных, подламывающихся ногах, спустился к ручью. Ноги абрека – чеченские ноги. Быстрее, выносливее тяжелых русских, не подвели, дошли, охладились в студеном горном источнике. Благодаря милостивого Аллаха, Дзахо омыл и разбитое о камни лицо. Обжигающий холод освежил плоть, защищал кожу, разогнал загустевшую в жилах кровь. От глотка к глотку целебная вода делала свое дело. Все в нем вскипело, взбурлило жаждой жить, желанием уцелеть любой ценой ради одной заветной «звезды» – отмстить врагу за позор, за смерть любимого сердца.

Еще прежде, в сакле Буцуса, он хотел было пойти в горы, отыскать среди оставшихся в живых одноульцев лихие кинжалы. Истый абрек – обязан иметь повсюду настоящих друзей. Быть может, в каждом ауле, а лучше в каждой десятой сакле. «Абрек, койи хочет быть большим абреком, обязан иметь друзей отнюдь не только в Чечне. В Дагестане. В Ингушетии. В Осетии. В Грузии. В Черкесии. По всему Кавказу! Как великий, бесстрашный Хаджи-Мурат. И еще – он должен знать дороги. Тропы людские, звериные тропы. Пещеры, каньоны и родники. При-

меты погоды. Предостерегающие голоса птиц и животных... И горы, вершины которых вместо звезд».¹⁸ Дзахо суеверно, как святыню, вынул спрятанный на груди тайный оберег. То был подобранный в остывших углях пепелища обуглившийся клочок кожи с человеческой кожи... Долго смотрел на него абрек, губы шептали песню-ясын; вновь спрятал на груди, чувствуя, что мычит, задыхается от безумия, будто сверху на него – живого – начинают валиться могильные комья земли...

Еще прежде, в сакле Буцуса, он хотел было пойти в горы, отыскать среди оставшихся в живых... лихие сердца. Верно говорят: «Один в поле не воин». Да, так думал, так хотел Дзахо Бехоев... но теперь не хотел. Не желал обрекать на смерть и без того обреченных... Он мог и раньше посмотреть правде в глаза. Мог, но боялся. Боялся признаться самому себе, что с этого самого момента встанет на путь предательства своего народа... Теперь сей роковой, залитый кровью перевал был за его плечами. «Сладкая еда не бывает у горькой беды». Дзахо оскалил зубы, собрал оружие, затянул переметный хурджин, взлетел в седло. Гикнул и, губя рысачьи силы, пустил скакуна в намет.

Где-то в сине-белой дали остался звенеть своим хрусталем целебный родник. Дзахо не оглянулся ни разу...

...Временами, свесившись с подушки седла, он царапал железным холодным взглядом по серпантину тропы в поисках следа ахильчиевского отряда. Сердце его больше не задавало вопросов, раз и навсегда разрубив сталью каменный узел сомнения. Для Дзахо Джемалдин-бек не был больше орлом, не был беркутом. Джемал стал стервятником, падальщиком, по кровавому следу которого шел он – его смерть. Мститель решил: он выследит и убьет кровника. Если не хватит сил, уйдет к русским, но все равно выследит и убьет Ахильчиева, а после направит коня в Дагестан. К Занди он вновь не вернется. У краснобородого лиса нет той славы, что есть у аварского льва. Он уйдет в Аварию, в Хунзах, к Хаджи-Мурату... Тому нужны смелые воины, ему нужны сабли гнева. Там, под значками неукротимого аварца – наиба Шамиля – он вновь будет биться с гяурами, меняя гостеприимные коши¹⁹, греясь под звездами у кочевых костров, в опасных набегах беря аманатов... Уж если быть мюридом, то для чеченца лучше быть мюридом наибским²⁰... А если нет – пусть убьют. Он достоин смерти, и нечего ему больше делать в этом мире. Пусть его заблудшая голова слетит с плеч в неравной схватке со злой судьбой. Значит, так угодно Небесам. Впрочем, Дзахо не любил загадывать дальше завтрашнего дня. Бехоев – чечен, Бехоев абрек, Бехоев барс, идущий по волчьему следу. У него есть мужество. У него есть честь. Ведь он не бурка, в которой нет тела... Он не папаха, где нет головы.

...Солнце, такое горячее, косматое в своем походе, идущее через горы, нехотя стало клониться к западу... Бешмет и черкеска взмокли от пота, прилипли к лопаткам... Железные стремяна раскалились, как на огне, прожигая жаром перчаточную лайку кожаных чувяков... В нагретой вате воздуха зависли стомленный храп жеребца и зуденье оводов; медленно оседала пыль за спиной, вздернутая копытами скакуна.

...Вечер. Сквозь корявые узлы ветвей змеился зеленый, голубоватый сумрак...

Всадник поднялся по ступенчатому кряжу. Щебень сорвался в пропасть из-под сторожливых копыт аргмака – долго грёмкал рикошетом о гулкие скалы, когда стихнет?.. Бездонна курившаяся бездна... есть ли у нее дно?..

¹⁸ Гатуев Д. Зелимхан.

¹⁹ У запорожских казаков кошом называлось селение, станица; кошами назывались также станы кочевников.

²⁰ Мюрид – дословно означает «искатель истины, правильной дороги» или «ученик, желающий учиться». Существовали две группы: 1) мюриды по тарикату, посвящавшие себя целиком служению религии, которые были скорее монахами; 2) мюриды наибские – т. е. верные наиба и имаму лица, выполнявшие административные и военные поручения. В большинстве случаев это были фанатично настроенные, непримиримые воины. Они находились на содержании у наибов и имама. Русские использовали зачастую этот термин для обозначения всех горцев, борющихся под знаменами имама.

...Не слышны стали птичьи голоса. Воздух чист, как стекло, ломок. На сей высоте кажется, что нет, не должно быть болей, страданий, что человеческие глаза будут всегда ненасытно взирать на снежные выси, что люди и эти суровые в своей первозданности дальние пики – прекрасны. Обязаны быть прекрасны.

...Дзахо сбил на затылок жаркую папаху, хищная взглядчивость налила его соколиные глаза. Глотая холодный, сухой воздух высокогорья, он машинально потрепал тугую и потную холку коня. Усмехнулся чему-то своему, абреческому, приметив в прозрачном пологе поднебесья черную семечку охотившегося орла. Где-то под всадником, много ниже, пролетая ущельем, седой ворон обронил горловой полнозвучный крик. В морозной стыни был отчетливо слышен шелест во взмахах его траурных крыльев.

Дзахо бросил прощальный взор: голубой сумрак в ущельях стал гуще и более синим. Небо по-прежнему ясно, но то обманчиво – скоро ночь. Он тронул коня. Турья тропа, бесконечно петляя, стала сбегать в лощину... В дрожащей плазме воздуха дыбились, плавилась каменные исполины. Все выше и выше, казалось, вздымалось их величавое снежное громадьё...

Покачиваясь в седле и тихо выстанывая старинную песню, тягуче тоскливую, бесконечную, похожую на вой, горец спустился в лощину. Прикрытый малиновой полою вечерней зари, Дзахо свернул от беды под защиту орешника, помня заповедь гор: «Те, кто не слушает старых, умирают молодыми».

...Ночь. Сабельный рубец горизонта отпылал гранатовой кровью заката. Буйные массивы заснеженных хребтов, исполосованные синими шрамами обвалов, остались за копытами скакуна. На дальних склонах мерцали сирыми огнями ступенчатые аулы Малой Чечни, обожженные близким солнцем, овеванные ветром ледниковых вершин.

Дзахо развязал сыромятные шнурки хурджуина, съел последнюю лепешку, поделившись с конем, почистил оружие, совершил омовение и намаз, завернулся в бурку, поглядел на дымчатую росу звезд. Его уставшие от бессонных ночей, с красными белками глаза, казалось, вморозили в себя их льдистый, колючий блеск.

«Самый лютей враг имеет каплю жалости, – подумал он, – но я ее не имею. Значит, я зверь... Нет, хуже, я – человек. Я – абрек. О Аллах, впереди равнина... впереди Сунжа и крепость Грозная, впереди гяуры... Молю Тебя, Всевышний, не убивай Джемалдина! Предоставь это мне. Волла-ги! Знаю, Ты милостивый... Ты справедливый. Пока Джемал будет жив, пока власть его будет биться в жилах – роду моему, женщинам, старикам, детям – всем плохо будет. Цхх! Надо убить Ахильчиева. Тогда хорошо будет. Тогда я могу умереть. Уа-да-дай-и-и!..» – Бехоев обхватил руками свою щетинистую волосом, давно не знавшую лезвия голову. Дикий взгляд испуганнее впился в саван ночи. Он знал, что шел на верную смерть, и ему казалось, что в поднебесье, повторяя абреческий путь, протянулась млечная межа, точно его след на небе. Нет, он не роптал. Как азиат, как горец, Дзахо покорно исповедовал непостижимую для него молчаливую правоту Создателя, рассыпавшего над Кавказом мерцающие миры и созвездья, горстями алмазов украсившего его смертный путь. «Уа-да-дай-я...»

Луна призывно сверкнула бледным перламутром в волнах света, будто отлитая в серебре посмертная маска любимой. Чуткий слух Дзахо сумел уловить в небесном всплеске последние слова, брошенные ему Бици в эдемских туманах Джанны: «Возвращайся быстрее... Я буду преданно ждать тебя здесь... У этого родника... у НАШЕГО родника, Дзахо...»

...Утро. Бехоев не помнил, когда сомкнулись его онемевшие веки. Закутавшись в бурку, оперевшись руками на ствол ружья, он доверил свой сон, как водится у абреков, своему брату-коню. Горский конь, что пастушья собака, чутье у него не хуже. Чуть что – поднимет хозяина, осечки не даст...

Алое солнце дымилось румяной зарей над черными горбами хребтов Ичкерии, когда Дзахо встревоженно вскинул голову. Алмаз, обеспокоенный чем-то, копытил землю, упрямо прядал карим фетром ушей, раздувал розовые норы ноздрей.

Дзахо бесшумно взвел курок. Прислушался. Тишина. В зеленой щетке орешника шурхались ранние птицы. Он мазнул взглядом коня, тот продолжал выворачивать глаз, натягивая узду. «Медведь!» – сердце джигита зачастило в охотничьем раже. Он ли с Омаром-Али не стирал чувяков в горах? Он ли не делал лопазов²¹, солянок и прочих охотничьих хитростей? Дзахо был славным добытчиком – всякую птицу и зверя мог указать в родных лесах. Ведал, куда тот заляжет, куда придет пить, где предпочтет валяться. Отец его прежде держал при доме и натасканных на оленя собак, и ястреба на фазана, и сети с силками имел – всё было, с благоволения Аллаха.

...Прошла минута, быть может, более... Вдруг скулы абрека налились чугуном. Справа слышался приближавшийся топот копыт. «Враг или друг?!» – отступить было поздно, время пошло на секунды.

Обхватив шею коня, Дзахо увалил жеребца на землю. Ученый Алмаз – норовиться не стал. Оно и понятно: надо так надо, он ведь тоже абрек.

Держа винтовку в одной руке, другой зажимая морду коня, Бехоев напряженно ждал.

Вокруг шелыхалась глянцевиная листва... Вот-вот затрещат прутья орешника...

На тропе приглушенно звякнула сабля о стремя, слышались сдержанные голоса... Скупые фразы – всего несколько слов...

Стежка пота щекотливо скатилась по переносице Дзахо в усы. Он лежал на боку, не двигаясь, закинув правую ногу на седло, готовый в любой момент поднять скакуна...

Каменный топот многих копыт стал ближе... Совсем рядом...

Дзахо крепче придавил к земле напряженную морду Алмаза, остро воспринимая и пряный запах его конского пота, и четкий грохот подков.

Качнулась светотень, в свинцовой зелени листвы густо зачернели папахи и бурки всадников, сочные мазки маслено-смуглых лиц. Горцев было не менее пятидесяти; все при оружии, закутанные до глаз в башлыки, явно идущие в набег. С первого взгляда Дзахо понял – это не были воины Джемалдина. Отряд был смешанным: по крою одежды, по рисунку расшитых медью и бисером сумок и ноговиц, по седлам и ремням он видел – среди чеченов было много ингушей, было и трое осетин, по всей видимости, примкнувших к отряду в пути. Одетые в желтые драные черкески, с пистолетами за поясом и кинжалами, они быстро и темпераментно переговаривались с чеченцами на языке жестов. То, что данный военный отряд не был отрядом мюридов, тоже стало ясно Бехоеву. В руках последних он не узрел ни единого древка, на котором пестрел бы значок причастности к Газавату, папаху их предводителя не украшала непримиряя полоса чалмы. В окружении верных джигитов, на высоком, серой масти, поджаром коне, он упруго качался в седле, следуя в голове отряда.

Дзахо вздохнул с облегчением, чувствуя, как реже стучит в груди сердце. «Кто знает, что было у них на уме?» Партия горцев проехала мимо и бодрой рысью, поскрипывая подушками седел, взяла путь на восток. Похоже, на сей раз они шли в набег не за кровью гяуров, а в ногоайские степи за лошадьми.

Сидя в седле, под защитой ветвей, аргунец всматривался в росистую, в утренних длинных тенях равнину; провожал долгим взглядом растянувшуюся меж зеленых холмов цепь всадников. Уходившая ночь еще воровски таилась на западе. Горцы, кутаясь в башлыки, временами переходили на полевой галоп. Резко и звучно шелкали подковы о попавшийся камень.

В жилах Дзахо разыгралась чеченская кровь. Будь другое время, кто знает, возможно, он сам бы с готовностью присоединился к их волчьей стае, но нынче...

²¹ Так называется место для сидения на столбах либо деревьях.

Он круто повернул скакуна на север, к Сунже, туда, куда стрелой уходил след его кровника – Джемалдин-бека.

Глава 5

Бехоев выследил и нагнал Ахильчиева лишь к обеду следующего дня. Подтыкая концы обветшалого башлыка, мститель нервно улыбнулся. Его впалые щеки, увитые черным жнивьем буйно разросшейся бороды, дрогнули при виде людей Джемалдин-бека; из-под сдвинутых к переносью бровей, ровно черные осколки антрацита, сверкнули глаза, с перекошенных губ слетели проклятья:

– Да сгниет твоя грудь, Джемал! Чтоб в вашем роду не осталось мудрых...

Дзахо не замедлил укрыться в каменистых холмах. Обычное спокойствие покинуло его. Ломая в себе внезапно нахлынувшую неуверенность, щуря напряженный взгляд на залитую солнцем равнину, он мысленно шепнул: «Главное – не обогнать врага, а не потерять правильное направление. Нет лучше подарка, чем голова кровника у собственных ног».

...Целый день он провел в секретах, меняя места, скрываясь и таясь от зорких глаз ахильчиевских ястребов.

И вновь над ним, уж в который раз, дымилась ночь, и снова над степью наборным кубачинским поясом сиял нарядно перепоясавший небо Млечный Путь, да только нынче не было времени у аргунца разглядывать замысловатый узор его серебряного чекана.

«Истинно богат лишь тот, кто не страдает жаждой приумножить свое состояние», – молвят в горах. Но Дзахо-абрек был беден смертями своих ненавистников, пересохший рот жаждал попить пробитую его пулей плоть недругов.

– Воллай лазун! После захода солнца золу на улицу не выбрасывай – не к добру. Да выпьет ворон твои глаза, Джемал!

Бехоев бегло мазнул взором темное подбрюшье неба, лег плашмя и, пряча за камень бритую голову, глотнул из кожаной фляжки родниковой воды. Спекшиеся от дневной жары губы жадно хватали студеную влагу. Напился, заткнул пробку, вновь взялся за ружье, с которым не расставался. Отряд Джемала, рассыпавшийся вдоль поймы притока, был близок, опасно близок – Дзахо казалось, что он даже чуял терпкий запах его лошадей. Затаившиеся в камышах нукеры, по всему, в последний раз осматривали свои винтовки, пистолеты, затравки и кремни; подсыпали на полки свежего пороху, затыкали газыри с зарядными мерками, пулями, кутанные в промасленное тряпье, лоснили клинки бараньим салом. Видел теперь абрек и без счета огни русских, что отражались малиновыми углями в тусклой слюде Сунжи. Огней было много, как звезд на небе, как листьев в Черных горах его родной Ичкерии. И вновь ничем не объяснимый и не оправдываемый страх сковал его шею и плечи, будто за стоячий ворот бешмета кто-то бросил ему сыпучую горсть колотого льда.

Опираясь на локоть, продолжая следить за противным берегом, Дзахо неожиданно заметил, как среди горцев случилось движение. Стрела, выпущенная в небо, не успела бы вернуться вспять, а папахи воинов-гази, видимые еще мгновение назад, исчезли в ночи.

– Цх, аль-халим, аль-хабир, аль-латыф!²² – Бехоев плотно прижался лицом к напряженному бархату ноздрей скакуна, примирительным шепотом перелаывая возбуждение животного. – Тише, тише, Алмаз, то я не вижу? Погоди, успеем, брат. Разве не знаешь, что пуля врага – самый быстрый гонец дурной вести? Или хочешь другого носить на своей спине?

Алмаз в ответ дернул мордой, выворачивая белки настороженных глаз, покорился воле хозяина – замер. Дзахо с благодарностью потрепал его дуговатую шею, будучи искренне уверен: конь понял смысл сказанных слов. Человек в горах без коня – что птица без крыльев. О любви кавказцев к лошадям сложены сотни легенд, и, право, не на пустом месте.

²² Терпеливый, сведущий, добрый!

Конь для горца – неразлучный спутник, вторые ноги, советчик и соучастник во всех важнейших деяниях. А потому страсть вайнаха к своему быстроногому брату доходит до невероятия. И не случайно издревле повелось на Кавказе: за доброго жеребенка – шалоха, солука или бечикана²³ – предоставлять раба. За взрослого же, выезженного коня знаменитых пород горцы отдавали до восьми полноценных рабов.

...Истекло не менее четверти часа, прежде чем Дзахо, пригибаясь к гриве коня, выехал из укрытия. Ночь сделалась гуще, точно черный колдовской вар. Только в вышине, в корявой проталине туч, углисто тлел опаловый клок да далеко на западе огнисто шнуrowали небо червонные петли молний.

А здесь, у воды, мирно свистали и щелкали соловьи, наполняя росистую свежесть лунной ночи покоем. Но Дзахо крепко держал подо лбом абреческую заповедь: «Правда – это ложь, которую не разоблачили».

...На дымном рассвете, когда над сонной водой зачалась тоскливая переключка шакалов, он скрывно съехал под яр к Совиному ручью разведать, что и как... Под обмотанными тряпьем копытами Алмаза глухо шуршал меловой известняк. У воды он скатал бурку, приторочил ее к седлу и, ежась от мгlistой утренней сырости, хотел было вброд перебраться на другой берег, когда плечи его напряглись. Рядом, ниже по течению, он явственно услышал тихую чеченскую речь.

– Как пойдем в набег, Имран, – бей гяуров по правому краю. Нам приказано заломить их крыло. О Аллах, дай нам с честью умереть в эту ночь или утопить неверных в крови!

Дзахо обернулся на голоса – сплошной туман с глянцевой ртутью рассвета, когда человек толком и собственной руки не узрит. Напряженные пальцы сомкнулись на рукояти кинжала. Еще минуту назад он сам, как горец, как чеченец, сердцем желал одного: побить, повырезать как можно больше русских собак и бежать в горы. Но разум и попранная честь рода каменной рукой остановили его. «Волла-ги! Кровь можно смыть только кровью. Талла-ги! Лучше умереть, чем носить позор за плечами, оставаясь в папахе!» В памяти просвистели пулей слова скорбной чеченской песни: «Бывало, холодной ночью волк воет... Люди думали – он с голоду воет. Нет, он от стаи родной оторвался...»

...Кануло в никуда мгновенье... Дзахо молчал, молчал и его верный Алмаз – оба знали, какой вред можно нанести общему делу, неосмотрительно выдав себя. Веками накапливалась у горцев звериная осторожность, и никакие силы не могли нарушить их правила.

Укрытый терновой листвой, аргуец продолжал ждать, но ухо его более не низало придуренной говори. Только табун жалящего комарья тонко звенел над его головой да гулко рокотала галькой река...

Внезапно мокристо чмокнула прибрежная няша под чьей-то ногой, и вскоре из дымящейся мглы возникла фигура в ватном бешмете, за ней другая в темной черкеске из домо-тканого сукна, с патронами на груди. Стройные талии воинов перетягивали кожаные пояса с латунными украшениями, которые перечеркивали ножны кинжалов. Тот, кто шел впереди, был обут в сафьяновые аварские сапоги – чакмай, с мягкими, чуткими на шаг подошвами. Он беззвучно крался вдоль берега, ощупывая ступней каждую пядь. За ним по-волчьи, след в след, шел второй, в черной папахе, на которую был накинут красный башлык. Ступая по камням с большой осторожностью, они озирались по сторонам, сжимая в руках оружие.

...Когда последний из ахильчиевцев поравнялся с укryвищем Дзахо – раздался ружейный грохот, а мгновение спустя высланные лазутчики уже боролись со смертью, истекая кровью. Все случилось столь неожиданно, скоро, что нукеры не успели даже поднять тревогу. Однако расколовший предрассветную тишь выстрел и без того спутал все планы коварного Джемалдин-бека.

²³ Лучшие породы лошадей, выведенные на Кавказе.

Дзахо едва перевел дух, как Сунжа огласилась ружейной пальбой. С противного берега отрывисто щелкнул кавалерийский штуцер, пуля зло вгрызлась в береговой известняк. Алмаз шарахнулся в сторону, но твердая рука уже сидевшего в седле аргунца натянула узду.

– Аллах акба-а-ар! Ля илляха иль алла!

Таившиеся в камышах ахильчиевцы взлетели в седла своих скакунов. На их отважных лицах плясали улыбки презрения к врагам. Каждый знал, что исполняет священный долг, каждый ведал в сей час, для чего он был рожден матерью. И пусть гибель подстерегает их жизнь, пусть она заберет ее прямо сейчас – слава храбрых надолго останется в народе и разнесется в песнях далеко в горах.

– Вуаллах акбар! – Воины Газавата атаковали в шашки гяуров. Мечь разжигала жажду боя.

В ответ с русской стороны затрещали винтовки казаков, стоявших в секретах. Пули, свистя и жужжа осами, сбивали листья и сучья, вышибали из седел летевших на них горцев.

Скрываясь от вездесущего свинца, Бехоев погнал жеребца вдоль берега. Сердце зануло в груди, когда он бросил взор вспять... Туман истаял над рекой, и в сумерках рассвета его глаза отчетливо разглядели открывшуюся картину. Увешанный кудрявыми коврами пыли противоположный берег кишел русскими солдатами, готовящимися перейти вброд обмелевший приток.

Алмаз взвился на дыбы, круто взбрыкнул, далеко кидая с копыт комья речного песка – над водой, много левее растаял охнувший медью гул орудия и, перекатываясь, пополз по Сунже.

– Ассе! Да-дай!! – Дзахо вытянул плеткой взбесившего аргамака. Тот секунду косил фиолетовый глаз на жгучую нагайку в хозяйских руках, затем вытянул спину в галопе.

И снова рокочущий грозными перекатами гул пушечного ядра огласил задернутую дымной сиренью пойму реки. По всему, русские канониры²⁴, не ведая все истинного числа нападавших, спешно пристреливали орудия, готовясь к бою.

Крутясь в седле, Дзахо тщетно искал глазами Джемала...

Впереди над вьющейся вдоль притока тропой поднялись и заколыхались столбы шафранной пыли, стремительно приближаясь к воде. Очевидно, скакали верховые, но охристые выступы холмов до срока скрывали их. Внезапно над краем яра будто из-под земли выросли всадники. Там, где они объявились, тропа была столь узка, что казалось: кони вот-вот сорвутся с обрыва. Воинственные контуры горцев были вычеканены на розовеющем щите неба. Возникнув внезапно, они так же и исчезли за новым гребнем, точно мать-земля, породив их на миг, тотчас поглотила обратно.

Дзахо против воли окаменел в седле, натягивая повод. Недобрые мысли закружились в его разгоряченной голове, сердце сдавило дурное предчувствие. В рослом всаднике, что первым возник на холме, он сразу признал жестокого и кровожадного Гуду из Харачоя. Уж с кем не хотелось сойтись на одной тропе Бехоеву, так это с ним, великаном Гуду, снискавшим мрачную славу в Черных горах Ичкерии. Грозное видение предстало перед глазами Дзахо... Но поздно было воротить коня и менять решение. Время шло на секунды, значок харачоевского льва уже трепетал на ветру, а кони его послушников сотрясали берег.

Харачоевский Гуду не был кровником Дзахо. Высокогорный тейп его принадлежал к иному племени, но он являлся старым кунаком Джемалдин-бека, а этого было довольно, чтобы при встрече убить Бехоева.

²⁴ От нем. Kanonier – пушкарь; звание нижнего чина в артиллерии русской армии, соответствующее рядовому в пехоте.

Дзахо в своей мести перешагнул святой низам²⁵ Шамиля, нарушил незыблемый кодекс всевидящего и могущественного аль-азиза имама, предался врагу. Это значило одно: отныне любой правоверный, принявший Газават, был его смертельным врагом.

Низамы предусматривали наказания и за другие проступки, наносившие ущерб безопасности имамата. Проявившим в бою трусость пришивали на одежду кусок войлока. Избавиться от сего позорного клейма и народного порицания можно было, лишь кровью доказав свою храбрость. Но самым тяжким и позорным преступлением считалась измена – за нее полагалась высшая мера. «Предателям, – говорил Шамиль, – лучше находиться под землей, чем на земле». Именно эти огненные слова звучали теперь в ушах абрека-отступника...

Уо-о! Мюриды вихрем вылетели навстречу Дзахо. Их кони едва не сшиблись грудь с грудью с аргамаком аргунца. Юношу спас лишь случай, а быть может, милость Всевышнего.

Первая цепь пехоты уже вошла по колено в воду. Горцы вскинули ружья – глупо было дольше скрывать свое присутствие. Их раскрылатившиеся на ветру бурки тоже заметили на том берегу.

Десяток расторопных, по-видимому, лучших стрелков 60-го замосцкого полка споро выбрал возвышенное место, припал на одно колено... Оба берега разом окрасились дымками ружейных выстрелов.

...Конь под Бехоевым заплясал, приседая на задние ноги, пуля просвистела в пальце от его щеки. Двое мюридов замертво рухнули под копыта испуганных лошадей. Один из них бился и хрипел, дергая разбросанными руками, тщетно силился встать, опираясь на саблю, покуда не ткнулся лицом в песок, в последний раз выцедив воздух.

Следом над скучившимся отрядом с режущим визгом прогудела пушечная шрапнель. Ядра и впрямь теперь ложились гуще. Канониры, пристрелявшись, вели прицельный огонь.

– Билла-ги! Да распорется ваш живот! – Лютый Гуду вычеркнул голубую молнию стали из ножен.

Бурый столб разрыва разметал его воинов, над воронкой, опадая, мятежно рассасывался сизый дым.

– Аллах акбар!! – качнулась и, ломаясь в скачке, полетела в шашки горская ярость. – Будь прокляты могилы ваших отцов! Талла-ги! Вырежем поганые языки выроdkов свиней и шакалов!

С губ Дзахо тоже сыпались тяжелые, как камни, ругательства. Чернея от душившего его противоречия, наливаясь кровью отчаянья, он в бессильи кольнул кинжалом своего жеребца в крестец и, потрясая разряженным в гяуров ружьем, ощерив белые зубы, помчался вслед за храбрецами Гуду.

Но, видно, вайнахи забыли, с кем имели дело. Русский солдат не дрогнул. Напротив, когда в замосцких рядах засвистали чеченские пули и пролилась кровь, утомленные методически скучным маршем войска оживились:

– Ну, слава Богу, что ты, Шмель Иванович, опомнился! Послал своих воронят! А то без тебя, родственник, скучнехонько, тяжелехонько было идти!

Серпастым фланговым охватом пехотинцы оттеснили горцев. В крошечке брызг, в прибрежной листве замелькали черкески и бурки рассеявшихся мюридов.

Аль-Вакила из Гехи в упор застрелил какой-то портупей-юнкер, Басыра с Рахманом искололи штыками, словно учебное чучело...

Отступление задержалось на краткий срок, когда сквозь беспорядочную пальбу и крики из огня и дыма слышался яростный рев Гуду:

²⁵ «На территории Имамата действовала особая система права. Она базировалась на низамах имама Шамиля, представлявших собой кодекс законодательных актов, регулировавших различные стороны жизни горцев и деятельность государства в военных условиях. Низамы были основаны на шариате, а также учитывали лучшие обычаи горцев» // Казиев Ш., Карпеев И. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке.

– Именем Аллаха заклинаю!.. За мной, волки Ислама!

Харачоевская пашка сплечахватила по голове замешкавшегося солдата. Тот ахнул надрывно, закрывая грязными ладонями опаленные ужасом глаза, и бухнулся навзничь в алую воду...

Дзахо стрелял и сек пашкой насевших на него гяуров; был дважды колот замосцким штыком в бедро и голень – благо, что вскользь и в мякоть; взывая к Богу, насилу вырвался из смерчевого вихря, всецело положившись на резвые ноги своего скакуна. В боли и муке, хватаясь за горло, кое перехватил прогорклый спазм, ушел из-под крыльев смерти.

Конь вынес его ниже по течению на вражеский берег. Тут было тише: барабанная дробь стрельбы осталась за крутым поворотом реки. Зато одиночные выстрелы лопались полнозвучно и гулко.

Скалясь от боли, извивавшейся в ноге, Дзахо привстал в стременах, тылом ладони сбил на затылок горячую папаху, что липла к распаренному лбу, огляделся.

И вновь сбоисто колотнулось сердце. Он видел, как основное ядро его единоверцев, без счета поредевшее, вырвавшись из русских клещей, спасалось беспорядочным бегством. По косогору, насадно погоняя коней, неслись вырвавшиеся вперед казаки.

Аргунец заскрежетал с досады зубами, но тут же соколиные черные глаза вспыхнули злорадным огнем – среди отступавших он приметил белую бурку Джемала.

– Да иссохнет семя твое, собака! – У Бехоева все дрожало внутри, бешенство раздувало ноздри. – Да встречаются каждый день на пороге сакли твоей ганзи²⁶ на выходе и кершан²⁷ при входе, пока не вынесут весь ваш род. Жаль... я не увижу твоих глаз перед смертью... Но знай, волк, это я – Дзахо, сын Бехоева Илияса, подарил тебе черный день!

²⁶ Носилки, на которых уносят покойника на кладбище.

²⁷ Ванна для омовения покойника.

Глава 6

Абрек не успел перевести дух и вытереть о черкеску кровь с кривого клинка, как за чинарами спело хлопнул винтовочный выстрел, за ним другой, высверливая незримые дыры в багровой парусине неба.

Дзахо спешно тронул коня в заросли. Укрывшись в чаще, спрыгнул с седла и, простреленный болью, припал на колено к земле. Из колотых ран, обжигая бедро, захлопала кровь. Недолго думая, аргуец надрезал кинжалом бешмет, выдрал из него клоч ваты и заткнул им обе раны. Затем, сцепив зубы, опираясь на ствол семилинейной крымчанки, он добрался до редевших тернов...

– Уо! – Сердце бухнуло по ребрам. Бехоев выдернул из-за пояса пистолет, прицелился.

Прямо перед ним с шашкой наголо гарцевал на лихом коне харачоевский Гуду. Клокочущий рык рвался из его необъятной груди, сверкавшее острие клинка подрагивало в занесенной для удара руке. Под копытами его жеребца валялось распростертое тело молодого длиннорукго казака, из расширенных глаз которого сочился текучий предсмертный ужас.

– Сдохни, гяур! Как собаку, помечу я тебя собачьей меткой! – Гуду в последний раз хватил пламенным взором гребенца, так лесоруб оглядывает дерево, которое нужно срубить и ищет на крепком стволе место, куда с силой всадить топор.

Дзахо презрительно дернул щекой: «Хочешь стать кунаком недруга – спаси его, принеси голову врага к его порогу... Из двух зол выбирают меньшее». Указательный палец не колеблясь спустил курок. Гуду, бесстрашный харачоевский лев, искусный в сабельной рубке мюрид Шамиля, выпростал к небу огромные руки, шашка выпала из слабеющих пальцев, и он, как сраженный орел, сорвался с коня, разбросав по земле черные крылья бурки.

Тяжело припадая на правую ногу, аргуец не таясь вышел из-под защитной листвы и молча подошел к харачоевцу. Тот, похожий на беркута – горбоносый, с дикой волей в очах – зыркал по сторонам хищным взором. Скрюченные пальцы-когти тянулись к кинжалу, но силы были уже на исходе... Пуля навывлет пробила грудь. Крови под ним с каждой секундой становилось все больше и больше...

Склонившись над ним, Бехоев угрюмо посмотрел в тускнеющие глаза грозного харачоевца, в которых прочитал слепую ненависть и нечеловеческую муку. Обнаружив присутствие своего убийцы, глаза мюрида изумленно расширились, сквозь стиснутые зубы просквозил еле слышный хрип:

– Это... ты-ы... полукровка?!

– Я привык возвращаться в родное ущелье с легким сердцем, – также по-чеченски глухо отрезал Дзахо и, продолжая смотреть в бледное, что козий сыр, лицо легендарного воина-гази, добавил: – Я ничего не имею против тебя, уважаемый аль-хамид Гуду... Но ты видел меня сегодня... а это...

– Знаю. – Харачоевец облизнул ставшие ржавыми от крови губы. – Хорошо молчит... только мертвая голова... Добей меня... – Он усмехнулся и глядел уже мимо умирающими глазами. С подрагивавших губ слетели звуки заунывной предсмертной песни – ясын.

...Тазни ляль ази зир рахим...

Ли тун зира каумен ма ин зира са баа ыгым...

...ай-да-ла-лай... дай-и...

Дзахо знал: горец больше не скажет ни слова. Его душа уже искала небесную тропу в цветистые сады Джанны, где от вареных горячих лопаток убоины шел дразнящий запах; где к столу подносились юношами-подручными зажаренные целиком на трезубых вертелах докрасна зарумяненные бараны... Где провозглашались тосты во славу Аллаха, сопровождаемые застольным

песнями, где воинственно и мужественно гремели, переливались голоса давно ушедших в мир иной воинов, где каждого правоверного мусульманина ждал рай под тенью сабель...

– Бисмилла, арахман, арахим... – Дзахо приставил вплотную длинный ружейный ствол к сердцу мюрида, нажал на спусковой крючок... Затем присел на корточки и почтительно закрыл ладонью стеклянно-открытые миру глаза с косо остановившимися зрачками, которые, казалось, взирали мимо всего.

Прочитав краткую молитву, аргунец прихрамывая отошел от трупа, сел неподалеку на примятый копытами дерн, подвернув под себя по-татарски ноги, разживил мелкодонную, на медной цепочке абхазскую трубку.

Коран запрещает курить и пить вино мусульманину, но жуткая правда резни вносила свои поправки. Трудно горцу на военной тропе, испытывая все суровые лишения и ненастья, когда вокруг свистят пули врага и отовсюду грозит гибель, неукоснительно совершить все пять намазов.

, трудно отказаться и от табаку, горьковатый дым которого согревает ожесточенную душу. Что уж говорить о волчьей судьбе абрека, жизнь которого целиком предоставлена воле случая.

Не устаивая взглядом ни убитого им мюрида, ни поднявшегося с земли казака, не обращая внимания на грохотавшие над рекой выстрелы, Дзахо сидел в тени, глядя в одну точку, и будто мысленно перебирал четки былого, не то смиренно, как смертник, ожидал своего часа.

Все это видел Максюта Лучев, спешно перезаряжавший винтовку. Не успевая толком осознать и пережить увиденное, он потрясенно глазел на чечена и, право, не знал – явь это или сон. Сызмальства слышал он от бывалых станичников: «Гололобий – тот же бирюк... сколь ни корми его с рук, один черт укусит и в лес убежит. Их гадючья порода гутарит одно, кумекает другое, а коробчит третье. Одна хурда-мурда на уме да пакость. Хучь в кунаках у горца ходи, ан ухо держи востро. Вперед нехристя не суйся. Чечен спину видит – кровь в жилах шалит. Зарежет за милу душу – «мамка» сказать не успеешь».

Казак знал: страшилка сия – бородатая шутка гребенцев, кою любили деды при «полных серьезных» втюхивать в души вновь прибывавшей на Терек солдатне. Но, как говорится, «сказка ложь, да в ней намек...»

– Эй, не слышал я про тебя прежде. Ты самый, видно, джигит! – держа наготове винтовку, дружелюбно окликнул горца Максюта, а в голове стрельнуло: «Свекровка сука-блуда топанная и снохе не верит! Мое спасенье от немирного чечена – чудо... Но я в энту брехню не верю. Тут шой-то не так!..» – Эй, да ты немой разве?

Лучев со свойственным ему куражом и ухарством свистнул «кольцом» сидевшему к нему вполоборота Дзахо и, загребая узкими мысами сапог жмых прошлогодней листвы, по-хозяйски подошел к распростертому телу. При этом он ни на миг не выпускал из виду чеченца, одновременно чутко прислушиваясь, не слышать ли своих; но утихавшая пальба гремела где-то вдалеке, отдав розовое утро на милость птичьим голосам.

– Матерый зверюга был... Ей-Бо... крестовый! – ровно любуясь мертвецом, цокнул языком Луч. – Ваш ведь... а ты его? Не жаль, или промашка? – Казак, шуря рысий глаз, вновь лукаво боднул вопросом. – В меня, поди, целил? Так вот он я...

Гребенец продолжал бойко городить на положительно понятном аргунцу пограничном наречье, но тот по-прежнему упрямо молчал, не меняя позы, и вырезал на прикладе ружья новые зарубки.

«Ну и чурбан попался – ни два, ни полтора... Камень, и тот скорее родит. Да только мы тоже в порты не ссым. Нехай схвачуся с ым в шашки, но развяжу язык немтырю. Не под бабой, чай, подыхать, ежли шо...»

Зная не понаслышке натуру вайнахов, Лучев решился на дерзкий, но беспроегрышный шаг. Склонился над трупом и потянулся было к поясу, на котором покоился красавец-кинжал из славного атагинского булата.

– Твой бери – мой убьет! – Глаза абрека сверкнули черным огнем, в них выражалась решимость и твердость сродни хазбулатовской стали. Ствол его ружья черным провалом смотрел на казака.

Максюта убрал от греха руку, но дело было сделано; подмигнул горцу и, разгибая колени, дружелюбно сказал:

– Ладно, ладно... будет торкать дудкой своей, ишь ты, напужал бабу хреном... Мертвяку-то, поди ж то, оружие ни к чему? Сам хотьними... Чинная штука.

– Отойди! – Бехоев оскалил белые зубы, не опуская ружья.

– Поди ж ты... – Казак тем не менее, повинувшись рассудку, сделал два шага и, довольный достигнутым, сел на камень напротив чужака.

Дзахо, с недоверчивой пристальностью глядя на смелого одногодку-гяура, отвел ствол крымчанки, уложил ее себе на колени.

– И все же ловко ты его уложил! Куснул свинцом ровнехонько под леву лопатку, и шабаш... Прощевай, родима сторонушка... – Лучев небрежно кивнул в сторону харачоевца и весело подчеркнул: – Ежели б не ты... не твоя добра семилинейка да верный глаз...

– Твой болтлив, как женщина, хотя мныт себя воином. – Дзахо презрительно хмыкнул, вынул из-под кинжала ножик и принялся внове вырезать на прикладе зарубки. Однако лицо его просветлело, подозрительность во взгляде отчасти сошла. Ему решительно как любому горцу была приятна похвала, а равно и лесть из уст врага. Нравился ему и сам гребенец: открытый, смелый, лихой – он исподволь подкупал одинокую душу аргунца. «Может, повезет, – раскладывал втайне Дзахо, – и я через этого гяура смогу выйти к русским... под защитой которых сумею отомстить Джемалдин-беку?..»

– Шой-то не спому я тебя, паря. – Максютя, пропустив меж ушей обиду, помуслил грязные пальцы слюной и вытер о долую полу черкески. – Странный ты какой-то, чудной... По виду самый джигит, как есть не мирной, а вроде... как нашу сторону взял, м-м?

– Мой что, кунаков встретил? – Бехоев горячим взором обжег гребенца.. – Мой что... должен был вода и лепешка поделиться? Так, что ли, э-э?! Мой пуля убил... Цх! Джемал твой бьет, всех бы резать стал. Наш в горах гаварит: «Кто выше, тому Аллах в помощь».

– Что же, не без того... – здраво рассудил Луч. – Наш брат тоже вашего бьет. Хучь хоть сядне. – Перемазанные пороховой гарью щеки Максюты сабельным ударом располосовала кривая улыбка. – То-то... А зарубки на кой мастеришь? Никак реестер по мертвякам ведешь? – Казак выбросил вперед указующий палец.

Аргунец в ответ зло усмехнулся, обнажив ровные погранично-плотные зубы:

– Дэвятий мэтка! – Дзахо с ласковой ненавистью сдул стружку, провел пальцем по еще не успевшим потемнеть семечкам гнезд, убрал нож. – Кровник мой... Харашо. Еще найду – мой опят стрелят, рэзат будет. На твой напал Джемал-бек... Цх! Сабсэм плахой человек. Вэр mine. Мой правда гаварит. Уши затыкат нэ надо. Аллахом клянусь – я сказал!

– Ну, ну... – избочив углом бровь, снисходительно кивнул Луч. – Ты шо ж, о двух головах у нас? Смерть никак ищешь? Ну-т, ты и горе... похоже, с тобой быть... и вправду беда. Абрек, значить. Воюешь со всем миром... Хм, весело... Жаль только, у такой войны нет победы.

– Э-ээ, байцца! Зачэм так сказал? Мой голова – чито хочэт, пуст то дэлаит, – значимо обрубил Дзахо. – Тывой шкура эта нэ касайтса! Сматри, застрилю – чтобы нэ балтал что нэ надо. Будищ тагда тиха сидэт.

– Базлать тутя неча! Поживем – увидим. – Максютя неопределенно дернул просвеченными низким солнцем пунцовыми ноздрями и хотел было подняться на угор осмотреть погибших товарищей, когда за спиной послышался чавкающий хлюп воды, бойко загуляли «махалки» камыша и на прибрежную косу шумно выехало с десятков казаков, за которыми показались солдаты.

– Максюшка, жив, каланча! – Никитин, нещадно рубя плетью своего бусогривого маштака, первым подлетел к зазывно махавшему рукой Лучеву. – Ба, братья! Гля-ка! Урван-то наш не только вживе, ан ещо и татарина под уздцы взял? Ну, выдал, братуха! Даром допрежде есаул тебя «дураком» честил. Эй, хто таков?! – Хорунжий крутнулся в рубленном горской пашкой седле, едва не наезжая конем на сидевшего чеченца. – Ты шо ж ему, Лучина, язык подрезал?

Владимир сурово хватил взглядом аргунца – горькая, ненавидящая борозда залегла между бровей.

Раненого горца обступили в оцеп подъехавшие казаки. Еще не остывшие от боя, они разгоряченно и зло сверкали глазами, перекидываясь замечаниями о подробностях и исходе схватки.

– Пошто позамялись, Христовы воины? Петлю готовь! Вздернем волка, ребята!

Среди стремян верховых замелькали штыки и мундиры пехоты. Кто-то из солдат, с корявым от оспы лицом, звонко и весело брякнул:

– Даром что молод, а здоров, зверюга! Вона – косая сажень в плечах, грудь як у ломового жеребца. На ем бы пахать, братцы!

– Оружие сдай! – Никитин спрыгнул с седла, тяжело ступая по осыпающейся песчаной дресве, подошел к пленнику.

Сидевший в тени кизиловых ветвей Дзахо глядел на него презрительно-холодно, щуря отчаянные глаза. С первого взгляду было ясно: это тертый джигит, кой уже повидал на своем коротком веку врагов совсем в иных переплетях, и нынче его ничто не только не удивляло в русских, но даже не занимало.

– Оружие сдай! – с нажимом повторил казак, в упор подойдя к чеченцу. Хорунжий едва сдерживался: его тяжелые скулы дрожали, свинцовые картечины глаз дырявили пленника, покуда не скрестились с бесстрашным, надменным взглядом, который надломил Владимира вековой тяжестью ненависти.

– Да он поди ж то ни бельмеса не знает по-нашему, Валдей. Татарин он и есть татарин. Ишь, дремучий какой! Зверем смотрит, стервец! У ихней породы на бороде каждый волос на злобе взрос.

– В последний раз говорю... Сдай оружие, гад! – клопочущим низким басом прорычал хорунжий и, отступив на шаг, кинул пятерню на рукоять шашки.

Аргунец не шелохнулся, лишь дико вспыхнул глазами из-под сросшихся гневных бровей, гортанно выкрикнул что-то отрывисто и зло, презрительно сплюнул и отвернулся.

– Сволочь! – Никитин по-бычьи мотнул головой, ровно уклоняясь от плетки, и пнул сапогом в плечо упрямого горца.

– Братуха, Валдей, не на-до-о-о!

Максюта (доселе затертый «на задь» понаехавшими казаками) прорвался наконец-то сквозь хвостатый заслон, распихал локтями замосцев, заполошно вбежал в круг, закрывая собой чечена.

– Не дам! Сказано, не да-а-а-ам! – жадово хватая разверстым ртом воздух, с порогу выдал Лучев. Его раскосые рысьи глаза с надеждой щупали лица знакомых станичников, точно искали поддержки.

– Ты в своем уме, ду-ра? С дороги, щенок!

– Да поймите вы-ы-ы!! – прижимая стиснутые кулаки к болтавшемуся на груди старообрядческому кресту, отчаянно орал Максютя. – Жисть он мне спас! Понятко ли... жисть!! Он это... Он! Завалил вон того бугая!

В возбужденном гуле полетели вразумляющие стрелы казаков:

– Уймись, Лучина, остынь!

– Откель тебе знать, шо гололобий задумал?.. Можа, он с умыслом стрельнул свово кунака, шоб наперёдь шкуру свою погану спасти.

– Думаешь, волк энтот добро будет помнить? Выкуси! Емусь, подлюке, только дай передышку, до ночи дожить – зарежьть во сне и в горы уйдеть! Ковось ты учить собрался, верста? Поди-ка ты, паря, хвост потрепи!

– А ну, прочь с путей! Обоих зарублю-у-у! – теряя последние крохи рассудка, как задушенный, сквозь стиснутые ярью зубы, просипел хорунжий; вырвал на волю из ножен шашку, крутнул ею в «казацком плясе» и двинул на побледневшего, медленно пятившегося Максюту.

Берег враз будто вымер. В накаленной тишине с бубенцовым звяком дернулись мундштуки уздечек, явственно зашуршала трава под сапогами Зарубина Спиридона, Дадыкина Семки и еще двух казаков, бросившихся к Никитину.

Но всех опередил раздавшийся за спинами выстрел. Со стороны воды хрястко затрещали прогнившие сучья. Все обернулись, поворотил шею и пленник.

Высокий вороной кабардинец с белой на лбу вызвездью, обгоняя взбаламученную пыль, машистой рысью вынес всадника на поляну и врезался в густую волну казаков.

Оказавшись среди гребенцев, Лебедев остро взгляделся в молчаливые лица, напряженно ожидавшие скорой развязки.

– Отставить, хорунжий! Не сметь! – Голос ротмистра был тверд и решителен. – Вы слышали приказ?

Казаки нехотя повиновались команде офицера, хмуρο расступились, явно ожидая другого расклада. Часть пеших смешалась с верховыми, бывшими в оцепе плененного азиата.

– Зря вы так!! – снова закипая бешенством, свирепо выкатил глаза Никитин. – Да знаешь ли, сколь эта гада наших кровей на свет выпустила? Сколь наших баб, сколько лошадей и скотины в свои чертовы горы угнала? – и уже тише, вогнав клинок в ножны и отводя злые глаза от ротмистра, Владимир процедил в усы: – Много тут вас, судей, с престольной наехало. Как мошкары в лугу... А ты вон... туда сходи... на бугор, что кровью нашей дымится... – Дрожа ноздрями, казак тыкнул в сторону обличающим перстом.

– Я тебе не «ты», а ваше благородие! Ты с кем дерзить изволишь? И бросьте ваши животные замашки, хорунжий. Тут вам не «дикое поле» – устраивать самосуд. Что же до нынешней переделки, извольте знать – я был там! И тоже имел удовольствие угостить свою саблю кровью. А теперь, – Лебедев, сомкнув губы, терпеливо выждал должную паузу, – поусердствуйте, любезный, чтобы сей пленник был в полной сохранности доставлен в лагерь ко мне.

Притихшие гребенцы досадливо шарили взглядами по сторонам, жались в нерешительности, ломая себя на вопрос «как быть?», готовые, чуть чего, загомонить, качнуться дружно «плечом» и расплескаться казачьей волею... Но после того, как хорунжий «ослобонил» дорогу его благородию, выпустили пар и принялись подбирать убитых.

– Мертвяков-то ихних не то в реку спрудим? – переламываясь торсом в седле, подтягивая подпругу, бросил в толпу Спиридон. – Нехай нехристь рыб зараз кормить? Аюшки, братья?

– Ты часом, Зарубин, приказ есаула забыл? – строго не свелел десятник Шлыков. – Все трупы к обозу свезти велено. В Грозную справим. Ихняя родня, как Бог свят, выкупать припылит. Чего глазюки свои на меня вылупил? Чай не родимец, а я не поп. Так уж заведено у них... Да и нам сподручней – обменям на наших.

...Кабардинец оторвал от сочной травы губы, со скрипом прожевал сорванный пук душистого чабреца и, глядя в сторону лагеря, нетерпеливо ударил по земле передней ногой.

Аркадий Павлович кивнул отдававшему ему честь хорунжему:

– Значит, договорились, голубчик? Надеюсь на ваше благоразумие, Никитин.

– Не можете сумлеваться, вашбродь. – Владимир поднял уроненный взгляд и твердо заверил: – Зараз доставим вам басурмана в полном порядке.

И, комкая в большущих ручищах плетенку нагайки, отошел прочь.

Раскуривая трубку, Лебедев в последний раз отрывочно глянул на рассыпавшихся вдоль реки казаков и неожиданно зацепился взглядом за пленника. Тот продолжал сидеть, подогнув под себя ноги, на прежнем месте, под дозором двух конвоиров из числа гребенцев, и пристально смотрел на него. Ветер трепал на джигите пачканное кровью тряпье черкески, перебирал на смуглом лице черные завитки бороды.

Аркадия поразила строгость его выражения и ледяное спокойствие, которое хранил этот дикарь на своем обликом бронзовым румянцем лице. Горец не проронил ни слова, но Лебедеву почудилось, будто он услышал слова: «Твой доверяет мне, урус-паша... Харашо. Иды и знай... Мой добро помнит».

«Не горюй... достойно проиграть, право, лучше, чем выиграть любой ценой». – Ротмистр мысленно послал чеченцу приветствие, пришпорил жеребца и упругим наметом направился к курившимся дымам гудевшего бивуака.

Часть II. Ворота Грозной

*По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на бег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю...
М. Ю. Лермонтов
«Казачья колыбельная песня»*

Глава 1

Наступившим днем, отряхнувшись от пуль и проклятий магометан, колонна под предводительством генерала Фрейтага к обеду благополучно достигла желанных ворот Грозной.

Впечатление, произведенное на Лебедева Грозною – этим передовым оплотом против горцев всех мастей, и первостепенно чеченцев, – увы, оказалось весьма «негрозным». «Amicus Plato, sed magis amica (est) veritas»²⁸. Воображение Аркадия представляло эту фортецию под стать могучим, заснеженным кряжам Кавказа, окруженную высоким валом, отвесным, глубоким рвом, и вооруженную по меньшей мере десятками орудий большого калибра... На самом же деле он не встретил ни того, ни другого.

Крепость, построенная в 1818 году Алексеем Петровичем Ермоловым в выдающемся к Ханкале изгибе Сунжи, состояла из цитадели и форштадта²⁹. «Первая занимала квадратную плоскость, сторона которой не превышала 200 шагов; обнесенная осыпавшимся валом и заросшим бурьяном рвом, через которые пролегалo несколько пешеходных тропок. Четыре чугунных орудия без платформ, на буковых крепостных лафетах, обращенных жерлами к Ханкале, возвещали сигнальными выстрелами о появлении неприятеля. Внутри самой цитадели, кроме двух пороховых погребов – хранилища боевых зарядов, патронов, и караульного дома, тянулись еще три деревянных строения, занятых разного рода должностными лицами и их канцеляриями».³⁰

Форштадт, обращенный на север к Тереку, состоял из одного крепкого дома начальника левого фланга, возвышавшегося возле землянки, в которой, как утверждали седоусые ветераны, еще во время постройки форта жил сам генерал Ермолов. Чуть далее боченился войсковой госпиталь; его подслеповатые окна-бойницы глазели на несколько длинных одноэтажных казарм, крашенных охристым суриком. Сразу за ними тянулось плотное множество небольших, похожих на тавричанские³¹ мазанки построек, принадлежавших разночинцам, к которым примыкало отдельное поселение из женатых солдат, и уж совсем на отшибе вековала грязная жидовская слободка, состоявшая большинством из татов-иудеев³², насчитывавших до сотни «дымов».

Этот форштадт охранялся не ахти каким валом со рвом и оборонялся пятью орудиями. Если к этому добавить деревянный с железными стяжками мост на Сунже, супротив цитадели, защищенной небольшим люнетом³³, да фруктовый сад с огородами и ротными дворами Куринского полка, то вот, пожалуй, и полный абрис той Грозной, которую впервые увидел Аркадий Павлович.

Однако, несмотря на такое скромное состояние обороны и вооружения форта, он – в глазах чеченцев – вполне соответствовал своему названию, и положительно никому, начиная

²⁸ «Платон мне друг, но истина дороже» (лат.) – слова, приписываемые Аристотелю.

²⁹ Сомкнутое укрепление внутри крепостной ограды, могущее служить последним оплотом для осажденных (ит.). «Форштадт» – В переводе с немецкого «пригород». Поселение, находящееся вне города или крепости, примыкающее к ним.

³⁰ Ольшевский М. Я. Записки. 1844 и другие годы.

³¹ «Тавричане – хохлы, как в свое время и казачья линия (станции), обосновывались на фронтире – на стыках колонизаторского населения с дикими горскими племенами» // Гатуев Д. Зелымхан.

³² Таты – горские евреи. Из многочисленных народов Кавказа лишь горские евреи исповедуют иудаизм. Этнограф И. Анисимов писал: «История переселения евреев на Кавказ туманна, и никаких письменных указаний не сохранилось на время этого переселения; но, основываясь на народных преданиях, эти евреи ведут свое происхождение от израильтян, выведенных из Палестины и поселенных в Мидии еще ассирийскими и вавилонскими царями. Со вторжением арабов на Кавказ множеств татов-евреев целыми аулами приняли магометанство, спасаясь от неминуемой смерти. Остальные, укрывшись в высокогорьях, остались верны религии Моисея и получили наименование “Даг-Чуфут”, т. е. горские евреи. Многие местности Табасаранского и Куринского округов Дагестана, а затем Кубинского уезда Бакинской губернии, населены и теперь татами-магометанами, которые в целом имеют весьма сходный тип с горцами».

³³ Военное открытое полевое укрепление (фр.).

от начальника и до последнего солдата, не приходило в голову, что неприятель осмелился бы покуситься на сей рубеж. А потому не было печали и заботы, да право, и не было свободных рук, на исправление верков³⁴. По той же самой причине не было надобности до поры и усиливать огневую мощь.

– Да-а, не шибко огородился наш брат от диких, ваш бродие-с? – знобливо отмечал Васелька, тирком поглядывая то на растрескавшиеся стены форта, то на мрачное синее громадьё горных хребтов. – Как хотите, благодетель вы мой Аркапалыч, но я-с, при всей своей доброй христианской воле не могу-с... не желаю-с тут куковать долгим сроком.

– Известное дело. – Барин сочувственно подмигнул потряхивавшемуся в седле денщику. – Тебе, прбйде, только бы водку трескать в господском закуте да у печи хвосты кошкам крутить. Эх, Васька, непроходимый ты у меня болван... Ленъ и трусость раньше тебя родились... Погляди вокруг, голова – два уха! Царская служба только и начинается, а ты уж скис, как та простокваша.

– Пошто вы ко мне опять задом? – во всей нагоде своей обиженности шворкнул носом слуга. – Из каких таких причин? Я же-с искренне с вами, по-домашнему, а вы с порогу пужать и песочить... Я при таком напутствии протестую...

Но ротмистр, всецело поглощенный осмотром знаменитой крепости, не услышал старых, как мир, причитаний денщика. Между тем окутанная пылью дорог колонна остановилась у ворот Грозной; слышав команды, распалась на части и стала квартироваться в армейских «кельях» форштадта.

Несмотря на непрезентабельный наружный вид Грозной, «... в ней жилось весело и даже подчас отчаянно весело, потому как все принадлежали к одной военной дружной семье, управляемой любимым и уважаемым начальником, коим в то время являлся генерал-майор Роберт Карлович Фрейтаг.

Главными отличительными чертами характера сего доблестного генерала были: простота в приеме и образе жизни, честность и бескорыстие в поступках, справедливость к подчиненным, спокойствие и невозмутимость в минуты опасности, как в обыкновенной, равно и в боевой жизни».

Роберт Карлович успел в сжатое, краткое время познать своего неприятеля и ту местность, на которой ему пришлось с ним иметь дело. Он дал некоторые ценные тактические правила, как строить и водить войска через чеченские леса, и не было способнее его молодцов-куринцев покорять лесные чащобы и дебри Ичкерии. Никто как полковой командир Фрейтаг не указал на пользу и важность «зимних экспедиций» в Чечне и Ингушетии, заключающихся преимущественно в вырубке просек и проложении сообщений.

На Кавказе начало лета всегда обильно дождями, от которых самые незначительные ручьи превращаются в трудно преодолимые прорвы. Чечня же, изрытая речками и ручьями – особенно опасна в сем отношении.

Как только леса покрываются листвой – солдату в Чечне делать нечего. И без того непролазные чащи становятся непомерно густыми, скрывая коварного неприятеля, умеющего с отменным искусством действовать в своих сумрачных пущах и наносить из скрытных засад непомерный вред меткими выстрелами. Случалось зачастую, что русские цепи в упор натыкались на ружья горцев. И это при том, что значительный перевес, как в живой силе, так в целости и дальности выстрелов, был на стороне первых.

Чеченцы, как и другие горцы, охотнее дрались летом, нежели зимою, что объяснялось их легкой одеждой, а крепче обувью, состоящей из чувяков и легких козловых сапог.

По этим причинам принято было избегать в Чечне не только продолжительных экспедиций, но и кратковременных выступлений летом, а производить их в то время, когда на дере-

³⁴ Общее название различных оборонительных построек в крепостях (нем.).

вях уже не было «вероломного листа». В Дагестане же, где нет столь бескрайних и гиблых лесов, как в соседней Чечне, кроме других не менее важных причин, принято было производить наступательные действия в горы не иначе как летом.

* * *

Вновь прибывших в Грозную расквартировали по-военному умело и быстро. «Каждый сверчок должен знать свой шесток!» – довольная «ладностью» и проворством начальства, за кулешом и махоркой судачила солдатня.

Под сотню Лебедева было отведено складское глинобитное помещение, неподалеку от лазарета, прежде арендованное армянами, которые с первых дней осады Кавказа накрепко прикипели к базарным лавкам русских форпостов и ревностно охраняли последние от посягательств предприимчивого еврейства, персов и прочих охотников до коммерции, в жилах которых испокон века жила страсть к торгашеству.

Прибытия подкрепления из-за Терека в крепости ждали с нетерпением и радостью, о чем красноречиво свидетельствовала та внимчивость начальства, с какой были загодя оборудованы предназначавшиеся для казаков и солдат помещения. Заново беленые стены еще дышали свежестью; смолисто пахли сосной свежескошенные нары и желто-белая стружка, которой были щедро посыпаны земляные полы. Казаки не скрывали своего благодушия от приема, мирно устраивались на новом опрятном «гнездилище», которое по походным меркам было цивильным и где-то даже уютным. Желудки их любимых коней худобы не знали – были полны овсом и макухой, не считая сочной «зеленки», которой было сверх меры на выпасах близ крепостных стен.

...Аркадий Павлович тоже был сдержанно рад данному складу вещей; требовательным командирским оком оглядел вверенное его казакам расположение, заглянул во все углы, наведалься в загон, где сотня чистила и скребла щетками лошадей, и позже подвел черту, что лучшего, в смысле устройства и прочих удобств, нечего и желать. «В проклятых болотах Польши о сем и не мечталось... Да уж, кампания была... Офицеры вместе с солдатами спали на жухлой, жидкой соломе... по шестнадцать дней не видели сменной одежды, заживо гнили от язв и сырости... Солдат заедали вши размером чуть ли не с ноготь, а тут...»

Удовлетворенный осмотром, ротмистр направился к своему постую, где с господскими узлами воевал Васька, когда у лесопилки его окликнул взволнованный голос:

– Аркадий, ты?!

Лебедев на ходу повернул голову. От пилорамы, к акульным зубам которой мужики подкатывали толстенный кряж чинары, к нему бежал, придерживая саблю, голенастый кавалерийский офицер.

– Григорьев! Витька! Штаб-ротмистр! – У Аркадия дрогнул голос. Глаза его давнего товарища, еще по кадетскому корпусу, тоже сверкали слезами, на загорелом, худом лице дрожала улыбка.

– Господи... Нет, право же... это ты, Лебедев? Глазам не верю... Из самого Петербурга?

– Из самого.

Друзья тепло обнялись, расцеловались по-русски.

– Ну что ты скажешь! – растроганный Виктор не переставал качать головой. – Вот ведь она – прихоть войны... Думал ли встретить?! А вот же!

– Обычное дело для строевых офицеров. Брось, Виктор Генрихович, глупости.

– Да уж какие «глупости»... Впрочем, что мы, как вдовы на панихиде?

Оба рассмеялись и вновь крепко обнялись.

– А ну-с, двинем, Аркадий Павлович! – Григорьев решительно подхватил друга под локоть.

– Куда же? Позволь...

– Пойдем, пойдем! – настоятельно поднажал штаб-ротмистр, не желая слушать никаких возражений. – Ко мне, тут недалеко. Ну надо же, брат, как подфартило! Я вон за тем ветряком бережничая, – проходя звенящую молотками и наковальнями кузницу, махнул рукою драгун. – Я тебе, голубь, все расскажу! Все покажу, будь уверен. Я же, Лебедев, волею судеб тут уже пятый год смерть ищу. Пя-тый! Три ранения: два в грудь, одно в голову. Вон видишь, левый глаз ни черта не зрит. Благо хоть не усох, а то кому я буду нужен кривой на балах?

– Так значит, пятый год? Кошмар! – Лебедев уважительно присвистнул и потрепал по плечу однокашника.

– Пятый, брат, сам не верю. И, как видишь, жив. А это на Кавказе... это... это что-то, Аркаша. Ну-с, вот и пришли, милости прошу, дорогой!

Штаб-ротмистр широко распахнул перед Аркадием кособокую дверь и, приказав вестовому Архипу собирать «заедки» на стол, напрямик проводил ротмистра к столу.

* * *

...За встречу пили брагу из изюмного меду. Последний местные виноделы готовили, выпаривая на огне сок винограда, тутовника, груш или яблок. Солод и сахар, брошенные в бузу, делали этот напиток прозрачным, терпким и крепким на вкус и голову.

– Значит, живете весело? Тужить не приходится? – поинтересовался Лебедев, вытирая белым платком губы и усы после выпитого.

– Истинно. – Виктор согласно кивнул головой и, не дыша, дергая в такт кадыком, опустошил пузатую кружку, стрельнул «живым» серым глазом по ее дну и, блаженно щурясь, перевел дух.

– Вы что же в Грозной, из торфа сию «беду» гоните? – улыбаясь, хрипловато кашлянул Аркадий. – Как будто вино, ан градус-то будь здоров...

– А мы не меряем, – отшутился штаб-ротмистр, налегая на отварную баранину, круто посыпая ту солью. – Оно нам тут, дорогой Аркадий Павлович, без надобности. Мы-с опускаем в эту, с позволения сказать, «заразу» узду... да, да, обычную узду, и коли она... к утру растворится... ну-с, стало быть, и готово.

Господа от души рассмеялись шутке. Архип – кражистый дядька лет сорока восьми, никак не меньше пяти пудов весу, с беспокойными, расторопно-мышастыми глазами, живо поднес офицерам второй полнехонький кувшин.

– Вот это дело! Орлом дозор несешь, братец! – Как-то быстро и смешно захмелевший Григорьев одобрительно потрепал по плечу вестового. – Ежели всегда так будешь исправно службу нести, Архип, то... на праздники, понятно, подарю рублишек пять. Погуляешь со своей Акулькой. Ты ж у меня еще о-го-го, Архип, даром что сединой побит... Так, нет?

– Так точно, ваше благородие. Старый конь борозды не испортить.

– Вот и молодца! Хвалю! Слышал, Аркадий? – Штаб-ротмистр с размашистой хмельной откровенностью воздел к потолку указательный палец. Подумал немного и, спешив душевный накал, урезонил стоявшего навтыжку вестового: – Старый конь борозды не испортит, то верно, но и глубоко не пропадет. Наливай, братец, ворон не считай!

Архип поспешил исполнить приказ. Однако его бурье, что картофель, руки, как назло, моросила мелкая дрожь, не то с похмелья, не то от утренней колки дров, не то еще от чего, и брага брызгала через край.

– Эй, короста старая! Глаз разве нет? Гляди, добро переводишь! – прикрикнул Григорьев и, послав значительное количество чертей нерадивому вестовому, сам взялся за дело. Однако теплота выпитого, разлившаяся по телу, радость от нежданной встречи сделали свое дело. Уже после нового тоста «за кадетское братство» Виктор Генрихович оттаял, снова был весел, острил, засыпал вопросами о Петербурге, сам отвечал на интересы товарища.

– ...Нет, Аркадий Павлович, тут память не дает зарастить тяготы потерь... À la guerre comme à la guerre³⁵, а здесь еще и la guerre de partisans, la guérilla³⁶, будь она проклята! Хотя нам ли пенять на сие? Не наши ли деды и отцы первыми в мире опробовали ее методы на французах в двенадцатом году? Во-от... а нынче сами хлебаем те же щи из той же чашки. Только уж больно солонь и горьки они... и вкус у них – крови.

Григорьев, подожав русыми бровями, сглотнул полынный ком обиды, плеснул в кружку со словами:

– Давай помянем наших, Аркаша. Царствие им Небесное, земля им пухом... Вечная память героям!

Выпили. Помолчали. Штаб-ротмистр вспомнил погибших товарищей – кровь густо кинулась ему в лицо, так что даже белый крахмальный обрез подворотничка, казалось, порозовел.

– А где же наша слава, Аркадий? Где?!

– Наша «слава»? – Аркадий внимательно посмотрел в засыревшие от слез и вина глаза друга. – А как в песне, Витя: «Наша слава – русская Держава! Вот где наша слава». Это же так по-русски: задумать невозможное, преодолеть и сделать. Так вот и рождается слава России.

И, точно вторя сказанным словам, за мутным оконцем хаты раздалась разбуженная чувствами старинная казачья песня:

...Но и горд наш Дон, тихий Дон, наш батюшка –

Басурману он не кланялся, у Москвы, как жить, не спрашивался...

А с Туретчиной, ох, да по потылице шапкой острою век здоровался...

А из года в год степь донская, наша матушка,

За пречистую Мать Богородицу, да за веру свою православную,

Да за вольный Дон, что волной шумит, в бой звала с супостатами...

– Вот он, ответ, Виктор Генрихович. – Аркадий допил вино под покорявший свежей крепью тенор, дождался его утихания, смахнул набрякшую, холодно сверкнувшую в углу глаза слезу. – Расскажи еще, голубчик, что здесь и как, решительно все интересно. И не спешите, Григорьев, с вином, а то хватим еще, и шабаш... Обидно-с будет, ей-Богу...

– А что сказать? Спрашивай! – словно выйдя из летаргического сна, вздрогнул драгун. – Офицеры наши исправно посещают офицерские собрания, недурно, скажу я тебе, столуемся, воюем, в карты режемся и... ик, да, да... горячо спорим о судьбах Отечества.

– Ну, а как вот насчет...

– Насчет баб-с? – Григорьев с гротескным злоумышлением в очах заговорщицки понизил голос. – Насчет баб-с – худо. Это тебе, Аркашка, не Червленая, не Ставрополь... Враг близок. Смерть, так сказать, дыбится в рот... Вот и вас на марше дикарь обстрелял... Так что с дамами трудно-с, хотя... хотя и здесь, в самом глухом и темном дупле Российской Империи, есть свои проституирующие лоретки. Как говорится: «Поп кадит кадилою, а сам глядит на милую».

– Да не о том я, Виктор! Куда тебя понесло?

– Pardon, тогда о чем? Ты сам-то, голубчик, что за беседы ведешь, рога выставив? Давай-ка выпьем горькое за сладкое!

Штаб-ротмистр, качнувшись корпусом, потянулся было к кувшину, но Лебедев вовремя задержал его руку.

– Видишь ли, – Аркадий словно прислушался к себе, затем утер ладонью лицо, с рассеянной задумчивостью оцупал свою грудь, – самый большой трюк дьявола, брат, в том, что он сумел убедить человечество в своем отсутствии. Понимаешь? Может быть, черное мы называем белым?

³⁵ На войне как на войне (фр.).

³⁶ Партизанская война (фр., исп.).

– Допустим. И что? – наступательно повысил голос Григорьев.

– А то, что каждый человек, Виктор Генрихович, живет очень сложно, и чем он глубже, умнее, тем паче мучается, страдает в сей жизни. Я все думаю...

– Дорогой Аркаша, я что-то, право, не пойму-с, куда ты гнешь... Не знал, что ты еще и философ. В корпусе, когда в кадетах хаживали, затем в юнкерах, помнишь? Ты был у нас первым, во всем – законодателем, черт меня побери! И мода, и стрижки, и лак для ногтей с китайской бархоткой... А нынче? Ты будто чахнешь над чем?.. Ровно не мед выпил, а стакан печали... А ведь у нас во всем была прежде ясность, – с ностальгией протянул Виктор и покачал головой. – Решительно во всем... и с амурами в том числе, будь они неладны, розовые пуховки: люби и бросай. Уходи и не оборачивайся. Таков след молодости, дорогу к которому я, увы, позабыл. Здесь же! – все проще, грубее, циничнее, что ли... Всему порука война... Она, собака, Аркадий, она, подлая... Курнуть бы, – с тяжелым вздохом обронил Григорьев, отгоняя докучливую осу, гудевшую над кувшином.

– Именно «война»... Вот мы и подошли к искомому. – Лебедев провел роговым гребешком по густой шапке зачесанных к темени волос, выложил на стол замшевый потертый кiset. Закурили. – Я думал последнее время, штаб-ротмистр. Рассуди. Вот война, вот кровь... Вот гибель товарищей, гибель без счета чьих-то жизней, любви и надежд... А где-то там – их родные: отец, мать, любимая... Так надо ли так России из века в век, Витя? Нет, нет, я все понимаю: немец, француз, швед, турецкая сволочь... Но вот Кавказ... ужели он тоже нужен России? Империи – да, пожалуй... Империи нужно все. Но вот нам? Тебе, мне, другим, кто здесь смерть ищет? Нам это нужно? Или кровь и смерть – в политике это не злой принцип, а средство для достижения цели? Но нет ли здесь того промысла дьявола, о коем я уже тебе говорил? Нет ли опасности, риска, той роковой закономерности, что опирающиеся на штыки рискуют перевернуть землю?

– Хм, на иной маршальский жезл идет лес березовых крестов. Это уж точно. – Драгун затаился трубкой, долго смотрел на барахтающуюся в лужице сахарного сиропа осу, потом обронил: – Вот... завязла, неугомонная... Прямо как мы на Кавказе. Что тут скажешь, Аркадий? Остается только *se plaindre de son sort*³⁷. Но разве пристало это паскудство нам – государевым слугам? За силу любят...

– За насилие ненавидят. – Лебедев почти зло оборвал собеседника.

– Постой-ка, брат! – Виктор нервно перебирал пальцами крученую бахрому скатерти. – Опять не пойму тебя? Господи, Адька, я всегда считал тебя другом, верным присяге, царю... и не хотел бы ошибиться...

– Так не ошибись! – Лебедев ровно выдержал пытливый и колкий взгляд.

– Ладно, идет! – Григорьев распрямил плечи, голос его натянулся струной. – Но давай без горько-сладких подслащиваний. Ты что же, против сильной Державы?

– Отнюдь. – По жженой бронзе щек Аркадия прошла тень убежденной твердости. – Только я полагаю: поддерживая здоровье и мощь Империи, не обязательно устраивать ей кровопускание.

³⁷ Жаловаться на судьбу (фр.).

Глава 2

– А вот и нет, господин ротмистр! Ошибаетесь, – резко поднял Григорьев голос. – Чем больше мы поливаем нашей кровью древо Империи, тем дороже оно становится и нам, и потомкам. И, надеюсь, к обоюдному согласию: на войне приказывают умирать, а не сдаваться. Вы же, Аркадий Павлович, как вижу, хотите и невинность соблюсти, и капитал приобрести? Так хочу разъяснить на пороге, – морща в запале строгое сероглазое лицо, сцепляя в замок пальцы, заявил Виктор: – В белых перчатках войну не делают. И еще: ты полагаешь, Аркадий, я тут прожигаю деньги? Содержу любовниц и лошадей? Дудки, голубчик! Я служу здесь нашему Государю!

Все это время Лебедев сидел напротив, неторопливо курил трубку с костяным наборным мундштуком и то поигрывал желваками, то смеялся темной зеленью своих глаз.

– *De quoi s'agit? Qu'est-ce que tu dis là?*³⁸ Какого черта смеешься надо мной? Я не слепой!

Аркадий, видя возбужденное замешательство друга, вновь улыбнулся, не удержался. Взгляды их столкнулись, и Григорьев, краснея хрящами ушей, поднял голос:

– Я прошу объяснений, ротмистр! Довольно здесь *faire le pitre!*³⁹ – Изволь, давай обсудим, брат.

– Я не люблю дебатов.

– Тогда не начинай. – Аркадий хлопнул о каблук трубкой, выколачивая из чубука прогоревший пепел, и примиряюще сказал: – Брось ершиться, любезный. Тень на плетень наводить, то я тебе не друг?

– В том-то и дело! – не скрывая обиды, почти по-детски открылся Григорьев. – Брутальный тип ты, Лебедев. Гляди-ка, как забурел, в Польше ли своей, в Санкт-Петербурге... Совсем перестал смертоньки бояться, Аркаша... чужой и своей. Ты вот тут язык распустил, а того не знаешь: на Кавказе и стены уши имеют. У меня пронесет, а вот за порог выйдешь – смотри. Ссылный край, та же каторга. – Виктор понизил голос, оглядчиво посмотрел на приоткрытое окно, за которым был слышен скрип бычачьих подвод. – Тут, в перезвоне шпор... тайных глаз, ушей и чернил будь здоров разлито. Поди разберись, кто из них военный пристав, кто скрытый филёр, кто *agent secret*. Услышат речи твои, ткнут перо в склянку с ядом... и поминай как звали. Для начала разжалуют, а там гляди... Уж сколько героев таких погорело.

– Н-да... – Хмурый ротмистр машинально жевал кусок кады⁴⁰, гоня по-над скулами комки желваков, не ощущая сладости выпечки. – А я-то думал, на Кавказ ссылают...

– Ты «ду-мал»! – вновь набивая трубку, горячо перебил Виктор и, напряженно шуря изпод длинных выгоревших ресниц яркий живой глаз на Аркадия, молвил: – Вот тебе мой совет: о политике забудь. Дерьмо не трогать, сам знаешь... Не наше это дело, грязь да и только. Мы офицеры, брат, рождены для другого. У нас еще так говорят на собраниях: «Политики нет там, где свинью громом убило». На кой тебе эти самокопания? Тьфу, тьфу... быть может, для тебя лютый чечен уже пулю отлил, а ты?..

– Ну спасибо, голубчик. За такую ворожбу следует непременно выпить. – Лебедев злобно улыбнулся и потер костяным мундштуком о колено. – Все верно, Виктор Генрихович, все правильно. Спасибо за совет... Все не без греха. Все страдаем от глупости: дураки – от собственной, умные – от чужой.

– Рад, что согласен... Рад, что убедил! – Григорьев оживленно зажурчал брагой и, явно желая сменить неприятную тему, подытожил: – Главное – не ставить иллюзорных задач, Арка-

³⁸ В чем дело? Что с тобою? (фр.).

³⁹ Разыгрывать шута (фр.).

⁴⁰ Сладкий слоеный пирог.

дий Павлович, решение оных тебе неизвестно. Давай зажжем Божью свечу в нашей беседе. И вообще, к черту мрачные мысли! Живем один раз, а разговоры все за упокой да за душу. Давай лучше о женщинах, о вине... Только в восторгах любви люди ощущают счастье бытия и, прижимая губы к губам, обмениваются душами. Но у нас, дорогой, Аркашенька, дам нет, а посему целоваться в губы, как фавны, не будем. К слову сказать: без женщин жить трудно, а с ними накладно. Так что все к лучшему. Зато есть вино и водка. А алкоголь, как известно, тем паче на войне, есть посредник, примиряющий человека с действительностью. К примеру, водка! – Григорьев, будучи в ударе от выпитого и от негданной встречи, бурлил и кипел: – Так значит, водка-с – это, топ шер, ей-Богу, волшебная жидкость, коя превращает черную тоску нашего пограничья в белую горячку. С этим злым демоном можно смириться, бороться или сойти с ума. Сегодня, по обстоятельствам... я-с предлагаю бороться!

– Bravo-o! – Лебедев от души рассмеялся, поднял кружку с хмельным нектаром. – Право, отраднo сознaвать, Виктор, что мы снова вместе. А также отраднo, что офицер, с коим мне суждено служить, так думает. За дружбу, за Государя!

Чокнулись, выпили; заедали ядреную брагу чуреками и хинкали. Смотрели друг на друга, вспоминая далекую юность, ощущая при этом сыпкие мурашки, бежавшие по телу.

Григорьев изменился за годы незнаваемо. Почти ничего не осталось в этом мореном солнцем, ветром и временем кавалеристе от того щуплого голенастого Витьки, с которым более пятнадцати лет назад Аркадия развела судьба. Он заматерел, раздался в плечах, хотя по-прежнему оставался поджарым и легким на ногу. Волос в густущих усах порыжел и кое-где схватился инеем седины, стал жестким, как проволока; лицо огрубело, равно и голос, и он казался Лебедеву старше своих действительных лет. Одни лишь глаза оставались те же, вернее, правый глаз, другой же смотрел недвижимым осколком стекла, будто чужой, мешая стороннему взгляду. Аркадий гнал от себя неудобство, внимал собеседнику, прицельно глядя в здоровый глаз, и тонул в искрящемся беспокойстве его зрачка, в котором мелькали картины и лица былого.

– ...Вы жизнью-то то не брезгуйте, голубчик... Лучшего не придумали, черт возьми! – Григорьев продолжал балагурить, не забывая налегать на вино. – Эх, все же ловко мы нынче сошлись лоб в лоб. У меня, ей-ей, в разуменьях все помутилось... Ты брось, Аркадий, свою известную брезгливость да гордость. Ешь, не стесняйся, что Бог послал. Тут, брат ты мой, полнейший халал, харамом⁴¹ не пахнет! Что делать? С волками жить – по-волчьи выть. Мы тут и в пище, и в иных делах бытуем как азиаты. Руководство одно: «дозволенное» либо «греховное», ну-с, все понятно, в разумных пределах, без фанатизма, по-русски... А ну, давай еще вздрогнем, когда теперь придется? Давай, давай, встряхнись! Иначе я буду неумолим. Вот, вот, по-гвардейски! Хочу пожелать тебе стать генералом, Аркадий! Чтобы тебя, дай Бог, любили солдаты, уважали офицеры и боялись враги. Чтобы там, где появлялись твои молодцы, земля бы горела под ногами краснобородой сволочи, и пусть удача всегда сопутствует тебе!

Выпили. Обнялись. Закусили.

– Ну вот!.. А ты не хотел. – Штаб-ротмистр, шпаклюя сапогами пол, обошел полукружье стола и, торжествующе глянув на Лебедева, икнул: – Я ж не изверг, не мегер какой! Эко, как проскочила зараза! Даже и неприлично-с... А почему бы нет? Да за такой-то тост... Вот попомни Григорьева, быть тебе генералом! Ты, Аркадий, всегда был первым среди нас.

* * *

Вырваться из цепких рук Виктора Генриховича Лебедеву удалось едва ли не с боем. До дому, где столовался, он добрался уж к вечеру, и то, признаться по совести, выручил случай. Не на шутку раздухарившийся штаб-ротмистр гремел «воспоминаниями» и «победами», швырял деньги под ноги, грозно звенел шпорами и командным голосом призывал своего порученца,

⁴¹ Запрещенное Кораном.

желая немедля отправить того за новым ведром чихиря. При этом он рвал на себе стоячий ворот мундира и, боево сверкая глазом, орал:

– Что деньги, брат? Дерьмо! Ежели их не разбрасывать, как навоз, от них, подлюк, толку не будет!

Наконец объявился Архип, и из-за раззявленной двери сквозняк потянул с база запах конской мочи и подопревших бревен. Насилу разглядев в табачном дыму господ офицеров, он подтянулся, продолжая, однако, мять заскоруждыми пальцами полинявшее сукно шаровар.

– Где тебя носит, дубина? Службу не знаешь, подлец? – насыпался на него с порогу Григорьев. – Ишь, чертило, глаза вылупил! Знаю я тебя, деятеля... Верно, опять за спиной у меня мутишь свое? Роешь лапами, как кобель хориную нору, м-м?

– Никак нет, ваше скородие-с. Подсоблял пороха́ солдатам до склада таскать.

– «Пороха», говоришь? Ну, и? – Шея штаб-ротмистра, залитая кирпичным румянцем, натужилась венами. – Что пыжишься, идиот, не лопни. Доложи по форме.

– Так ыть, шо ж доложить? – затруднительно кашлянул в кулак вестовой и суетливо добавил: – Всё путем. Токмо вот... молодняка унтер зазря понагнал. Глупые оне еща, щенки. Вот я им и воткнул, дуботоккам. «Ду-ра-а! – ору. – Эт же пороха, мать вашу в дышло!.. Как берете, ироды? Как ложите? На воздух поднять фурштуд хотите?! Неси нежнёхонько, як брюхатую бабу, с низов придёрживай, не споткнись!»

– Ясно с тобой, Архип. – Драгун, рассасывая трубку, смахнул с губы прилипшую табачинку и, глядя соловым взглядом в светлые разбойничьи глаза порученца, сказал: – Тут вот какое дело, любезный... Мы в состоянии противоестественном, да-с. Сам видишь... Друга своего по кадетскому корпусу встретил... Прошу-с любить и жаловать, – через икоту припечатал Григорьев. – А п-посему мигом... до Петрова, туда и обратно, ущучил, шельмец? Ежели к сроку, пятиалтынный за мной.

– Премного вами благодарен, ваше скобродие! А можно-с и мне... в честь прибытия вашего друга кружечку?..

Виктор Генрихович, вконец ошалевший от выпитого, посмотрел на Архипа премутным взором и, шаря по скатерти пальцами в поисках так и не раскуренной трубки, пожал плечами:

– А хрен тебя знает... можно тебе... или нет. Оставь нас совсем, дурак.

На этой ноте Лебедев вздохнул облегченно, потому как Григорьев, к огорчению вестового и к его, Аркадия, радости, уронил на стол голову и уснул под тихий свирист запечного сверчка. «Вот он, тот случай в жизни, – весело подумалось ротмистру, – когда самой тонкой хитростью оказываются простота и откровенность».

– ...Ну, догугарились, значить, помоги нам Боже! – занозисто разорялся впотьмах сеней Архип, раздосадованный финалом. Он был явно не в его пользу. – Вот он – ваш господский ответ... Завсегда так... Сами нажрут завыше бровей, рассуноются, демоны, а туть знай наглядывай... Жадюги. За чихирем-то бежать, чо ли, ваше скобродие-с? – Озадаченный вестовой с плохо скрытой надеждой ткнулся было к вышедшему на крыльцо Лебедеву.

– Уволь, голубь. Лучше дай направление, как... мне... пройти к мельнице... к дому пора.

Сивоусый Архип нехотя тыкнул вперед себя культияпым, без одной фаланги пальцем и, матькаясь в усы, понурым мерином зачикилял в хату.

* * *

Дымная пыль паутинистой занавеской затянула низкое окно. Невеселое, будто с похмелья, солнце заглянуло в стекло и торопко покатилося под уклон.

...Аркадий, подуставший, но откровенно довольный встречей, лежал на своей походной кровати, закинув руки за голову, и подводил резюме: «Разве нынче не хорошо? Ей-Богу, хорошо! Вот я и в Грозной... легендарной Грозной, ермоловской... то ли еще будет? Есть ли у вас разочарование, топ амі, червь сомнения? – Он сам себе задал вопрос, почесал со вчераш-

него дня не бритую щеку. – Ничуть не бывало! Ах, Витька, ах, душа... Как ты там каламбурил: Слабые спят лицом в салате, сильные – в десерте?... Так, кажется... Ну, ну...»

Лебедев поймал себя на том, что ему как-то изнутри по-праздничному зудливо и весело. «И чего это я без дела улыбаюсь? Уж не звоночки ли это запоя? Может быть, кликнуть Васельку... еще рюмку? Нет, будет, сдержись. Запой дело скверное. Он чередуется страхом и эйфорией, когда человек готов броситься в пропасть, лишь бы избавиться от головокружения проблем: неуверенность, муки совести, «Так ли я живу?», «Прав или не прав?», словом, кошмар и морока... Что ж, такое случается... Аргумент из графина тоже аргумент, хотя от рюмки к рюмке истина становится все сомнительней и, как правило, тонет в бессвязных восклицаниях и обостренных обидах... Нет, эт-то несерьезно».

Наблюдая за быстро черневшей синевою неба, Аркадий словно порвал доселе сковывавшие его путы, и перед ним понеслась галерея образов, но отчего-то все большей частью тяжелых и томительно-грустных.

...Сегодня за столом Виктор не только сыпал историями и анекдотами из фронтирной жизни... Дрожали на его ресницах скорбные слезы и о погибших, и о маменьке Татьяне Владимировне, о скоропостижной кончине которой он узнал из запоздавшего на месяцы письма. «Господи. – Аркадий Павлович наложил на себя крест. – И моих-то любимых старичков – самых родных и близких на земле – уж давно нет. Помяни Боже души усопших рабов Твоих, родителей наших и всех сродников по плоти... и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Твое Царствие... Все мы под Тобою ходим, все не знаем, где и когда сложим голову».

Не желая рвать душу столь печальными думами, Аркадий сосредоточил память, живо вспомнил важное утверждение штаб-ротмистра:

– Верь, верь мне, Аркадий! Бьюсь об заклад, граф Бенкендорф положительно уведомил меня – со дня на день в Грозной грянут перемены. А Константин Константинович, я тебе доложу, не фунт изюму. Раз сказал – значит, тому и быть. Полковник слов на ветер не бросает. Да ты еще наперед убедишься.

– Я, кстати, предписан поступить под его начало, – поделился Лебедев. – Доклады и знакомство с начальством вновь прибывшим назначены на послезавтра, с утра.

– Искренне поздравляю! – Виктор крепко пожал руку Аркадию. – Граф превосходный, опытный командир и благородный человек. Вот крест, не пожалеешь, голубчик.

– Дай Бог... Значит, прибытие на Кавказ светлейшего князя Воронцова не нонсенс, – вслух заключил Аркадий. – Да, все течет, все изменяется. Что ж, *alea jacta est* – Жребий брошен... Лишь бы это решение в Петербурге не было сделано *curren-te calamo*.⁴²

– На все воля Божья. – Григорьев в тон сомнениям ротмистра развел руками. – В штабе недвусмысленно говорят: «Государь остался крайне недоволен безрезультатностью операций на Кавказе. По его разумению, плохи были и Гурко в Чечне, и Лидерс в Дагестане... Не справились генералы с возложенной на их плечи миссией».

– А что же его высокопревосходительство генерал Нейгардт? У меня... была с ним аудиенция в Ставрополе. Старик угостил даже своим грузинским «коньяком».

– Вот как? Занятно, – подивился Григорьев, затем изломил крылом бровь, покрутил кольцеватый ус и выдал: – А что Нейгардт, Аркадий Павлович, супротив Императора? Тут, брат, субординация, как у нас шутят: «Никогда не напоминай слону, что его сделали из мухи». Писал наш Нейгардт, писал Александр Иванович в столицу, разбирая причины неудач последних экспедиций. Он мудрый вояка, битый волк... Он понял причину. «Чем больше войск, тем больше затруднений и медлительности...» Именно так он и доносил Его Величеству. Увы, у победы тысяча отцов, поражение всегда сирота. Шамиль ведет партизанскую войну. Уж сколько лет

⁴² Беглым пером, т. е. быстро и необдуманно (лат.).

он избегает открытого боя, изматывает, стервец, наши войска, завлекая в горы и нарушая их сообщения. Моль обожает менять гардероб. Так и гололобые не стоят на месте. Что ни говори, а они хорошие тактики. Взять хоть того же Граббе. – Штаб-ротмистр с досады плюнул под ноги, помолчал, прислушиваясь к басовитому жужжанию мух, потом задвигал острыми скулами: – Жаль, что и пример несчастного движения графа Граббе в Ичкерии три года назад с непомерным отрядом остался напрасным... Вот и на Акушу двигали целый корпус, а толку? Скопища Шамиля разлетелись, как саранча, ищи ветра в поле. А наши с обозами, без дорог, по ущельям... Вот и вас пригнали уплотнить ряды... Куда?! Сменить бы солдат гарнизона, дать отдохнуть егерям-куринцам, то дело... Но ведь вас пригнали сюда на забой. Да, да, не поднимай бровей, Аркашенька, как пушечное мясо. Истинный Бог. Я же говорил тебе соображения графа Бенкендорфа... Его Величество, будучи в Царском Селе, решил проникнуть в Андию и одним железным ударом покончить с ненавистным имамом. Исполнение своей монаршей воли он возложил на своего любимого генерал-адъютанта князя Воронцова...

– Так значит, главнокомандующим будет...

– Да, mon cher, его сиятельство светлейший князь... вместо Александра Ивановича. Как Бог свят, дело генерала Нейгардта – табак. – Григорьев снова сплюнул, растер сапогом плевков, потом, прочищая трубку, глянул прямо и коротко в глаза собеседника: – Так вот что... такие новости, Аркадий Павлович. Дождались. Недолго Нейгардту осталось «панствовать» кавказской «линейкой». Увы, заслуги стареют быстрее, чем их герои. А новая метла, сам знаешь... Да тебе-то что за печаль?

Глава 3

«Да, нечего сказать, попал ты, брат, в переplet... – Аркадий устало провел рукой по лицу, похрустел пальцами, мысленно пробежал взглядом по светлой картине недавней пирушки, и она как будто потускнела. – Так что ж мне делать теперь с приказом командующего? Может, как по старинке: «Нет человека – нет проблемы»? Князь Воронцов в душу ко мне не заглянет. Кто я для него? Худородный, отнюдь не столбовой дворянин из мелкопоместной семьи? Один из многих тысяч, заброшенных в жернова Кавказа... Васелька сказал бы точнее: «Вашему тыну двоюродный плетень». Это в десятку, это в яблочко... и все же: доносить его сиятельству о конфиденциальном разговоре с Нейгардтом? Тяготит меня мысль быть филером, воротит с нутра. Подозревать благородных людей, украдкой шпионить, искать среди них мерзавца, а позже фискалить наверх... Черт, есть в этом занятии что-то порочное, срамное, гадливое. Впрочем, человечество и этому давно нашло индульгенцию. Подлецу все к лицу. Оправдаться человеку несложно, стоит просто сравнить себя с другими: я ограбил одного, а он – шестерых, значит, я лучше. Но это ли не падение в бездну? Зачем всяк испрашает у Бога: «Почему, Господи, мне так плохо?!» И ведь никто, решительно никто не спросит: «Почему мне, негодяю, столь хорошо?» Видно, недаром у старцев на это сложился ответ: «Не требуй у Бога скорого суда, ибо если бы Бог не был столь долготерпелив и многомилостив, Он давно бы тебя покарал»

Раздраженный собой: горячкой мнительности, отсутствием воли сделать решительный выбор, Аркадий нервно потеревил хлястик ремня висевшей в изголовье сабли, затем порывисто поднялся, сел на кровати, уперев ноги в пестрый, из лоскутов, половик, и, тряхнув головой, прислушался к голосу сердца.

«Нет, врать не смогу. Это уж подло! От себя не убежишь... Тогда что прикажешь? Век ходить с опрокинутым лицом и презирать свою слабость? Краше записаться на прием и ахнуть все разом:» «Не могу и не желаю сдерживаться, ваше сиятельство! Как честный человек, дворянин, офицер, не имею возможности быть фискальным швецом. Ежели не угоден, ради Бога, сделайте одолжение – увольте. Почту за честь... быть разжалованным в рядовые...» Эх, подари, березка, мне свои сережки... Каков запал! Какая прыть! Ну не мальчишество ли это? Глупо. Как это похоже на тебя... и как смешно...»

Он язвительно усмехнулся и посмотрел долгим взглядом в полутемное оконце, через которое просачивался голубой свет позднего предвечерья. Поднялся, прошелся к низкому кавказскому столику, запалил свечу и, глядя на узкий, стрельчатый наконечник пламени, твердо скрепил:

– Довольно ломать комедию. Довольно пустозвонной болтовни. Ты не зеленый юнец на святочном балу, чтобы занимать девицу во время танца легкой *causerie*⁴³. Ты уже задавал себе сей вопрос, и похоже, давал на него ответ. Так вспомни, и к стороне – раз и навсегда:

Тебе, а не кому-то, доверились.

Тебе, а не другому, был порукой его высочество Великий Князь Михаил Павлович.

Тебе был отдан приказ командующим, и ты обязан его исполнить. В конце концов, служение Государю вносит в твою жизнь порядок, покой и смысл. И попросту нам, кто единожды присягнул на верность, следует помнить о долге русского офицера.

...Аркадий Павлович, все еще ощущая не то ноющую, не то саднящую пустоту в груди, поднялся с кровати, прошелся по стонущим половицам хаты и, ероша в усталом томлении волосы, покачал головой. «Господи... как все меняется в жизни, как меняемся вместе с нею мы сами». Ему неожиданно захотелось исповедаться, откровенно, без тайных ширм с церковным батюшкой, своим духовником, о наболевшем, о том, что маяло сердце, давно давило виски, что

⁴³ Бальное светское правило требует, чтобы кавалер во время танца занимал даму легкой беседой.

накострилось несмываемой накипью в душе за последние годы. Недавние терзания, сомнения по поводу возложенного на него поручения остались где-то за бортом мыслей, зато дыбом вставшая жизнь опалила жаром, являя ему в этот час свое порожнее нутро.

«Вот они – истинные муки совести! Отчего я здесь, на чужом мне Кавказе? Отчего на мою голову пал выбор его высочества везти незаконнорожденного младенца?.. А это гнусное убийство старика – графа Холодова?.. Боже мой! Всему виной ты сам! Crétin! Être le dindon de farce⁴⁴ – вот твоя судьба. Дьявол! Как глупа, как слепа и самонадеянна молодость! До каких же пределов я был дураком, уже будучи в академии?.. Моя carrière... Моя le premier amour⁴⁵... Милая, бесконечно любимая Светлана... прости, прости... tant qu'à faire, il faut faire les choses correctement».⁴⁶

Аркадий в бессилии хрустнул пальцами. Незримые слезы тихо душили его, во рту все явственней разливался вкус ржавчины.

Безо всякой видимой связи ему вспомнилась ОНА. Чтобы хоть как-то быть осязаемо ближе к ней, к своей Светлане, Аркадий поспешил снять с груди нательный крестик (ею подаренный крестик), нежно поцеловал его трижды; на губах его дрожала улыбка, щекочущее волнение хватало за сердце, когда он прикасался к черненому серебру распятия; затем, будто во сне, вернулся к остывшей кровати, разбросанно думая о тех давно отцветших поцелуях, о тех давно канувших лучших днях, бледный призрак которых он бережно хранил в своей памяти; упал на подушку, вновь чувствуя знакомый тупой укол угрызений, что уж не первый год точили его душу, в отчаянии сцепил зубы.

* * *

Все между тем было обыкновенно, просто до тошноты.

...В тот памятный черный день, когда петля долгов стремительно затягивалась на шее Аркадия, его вездесущий и всемогущий un vieil ami⁴⁷ – Рокамболь – Георгий Извинский предложил ему сделку.

– Бу-бу-бу! Не надо трагедий, поручик, – не люблю! – Жорж сверкнул глазами, разом оглядывая несчастного должника и его «гарсоньерку» из пяти меблированных комнат. – Мост под тобою и вправду шаткий, дружище, а поток под ним ужасающе бурный... Но, как говорят у меня на родине, tak, to dobrze! Zgodna, pan!⁴⁸ Семь тысяч, говоришь, серебром? – Извинский вновь холодно, словно колотым льдом, блеснул глазами из-под светлых бровей.

– Именно так, – воротя лицо к застуженному окну, глухо, не без стыда буркнул Аркадий. При этом он ощутил, как запершило в горле, как дрогнуло что-то внутри и натянулось струной (совсем как тогда, у татапа в будуаре). – Сволочи! Эти жида-кредиторы! Как они смеют так подло со мной! Словно цепные псы! Твари! Совсем не желают слушать, Жорж! Как смеют!..

– Смеют, Адик, смеют... как видишь. Spotkaliśmy się wreszcie! Jak pan sie czuje? Ха-ха-ха!! Co za mile spotkanie...⁴⁹

Поляк резко как начал, так и оборвал свой смех.

– Так значит... семь тысяч серебром? – со злорадным сочувствием повторил он вопрос. – Ну и вензель, поручик!

– Ты... что же... пришел издеваться надо мной? – Лебедев смерил улыбавшегося Рокамболя упрекающим взглядом.

– Отнюдь. Твои страхи и затруднения – сущие пустяки. У тебя есть я, а значит...

⁴⁴ Кретин! Остаться в дураках (фр.).

⁴⁵ Первая любовь (фр.).

⁴⁶ Уж если делать, то надо было делать хорошо (фр.).

⁴⁷ Старинный друг (фр.).

⁴⁸ Так, это хорошо! Славно, пан! (польск.).

⁴⁹ Наконец-то мы с вами встретились! Как пан себя чувствует? Какая приятная встреча... (польск.).

– Жорж! – Аркадий замялся, нервно куснул щегольской ус. Он готов был боготворить всеильного графа-одногодку. – Бесценный Жорж! Я... я по гроб жизни буду обязан тебе. Клянусь честью... до конца дней моих! Веришь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.